

1860

КАПИТАЛ И ТРУД

(«Начала политической экономии», сочинение *Ивана Горлова*. Том первый, С.-Петербург, 1859).

Читателю известно, что мы не очень усердно поклоняемся той системе политической экономии, которая, по незаслуженному счастью, до сих пор считается у нас единственною и полною представительницею всей науки. Если мы скажем, что г. Горлов¹ ни на шаг не дерзает отступать от этой системы, читатель может предположить, что наша статья будет содержать жестокое нападение на сочинение г. Горлова. Нет, мы не находим, чтобы эта книга заслуживала такой участи или такого внимания.

Г. Горлов излагает систему, которую мы не одобряем; но он, как из всего видно, держится этой системы только потому, что гораздо легче знать вещи, о которых толкуют во всех книгах уже целых сто лет, нежели усвоить себе понятия, явившиеся не очень давно. Ломоносов был великий писатель — кому это не известно? А то, что Гоголь также великий писатель, еще далеко не всем понятно. За что же нападать на человека, который, вечно толкуя о Ломоносове, не ценит Гоголя потому только, что родился «в настоящее время, когда», чтобы понимать Гоголя, надобно следить за литературою, а не через пятьдесят лет, когда слава Гоголя войдет в рутину? Это просто отсталый человек; отсталость должна в чувствительной душе возбуждать сожаление, а не гнев.

Порицать книгу г. Горлова мы не находим надобности; хвалить ее мы, пожалуй, были бы готовы, но, как ни старались набрать в ней материалы для похвал, набрали их не много. Изложение книги не очень дурно; хорошим назвать его нельзя, потому что оно вяло и скучно. Мыслей, которые считаются дурными у людей, взятых г. Горловым за руководителей, у г. Горлова нет; но зато нет и ни одной сколько-нибудь свежей или са-

мостоятельной мысли, — а мы могли бы ожидать найти хотя две-три таких мысли, потому что некоторая (умеренная) свежесть и некоторая (мелочная) самостоятельность допускаются даже школою, к которой принадлежит г. Горлов. Ученость — и того мы не нашли. Есть заимствования из Рошера, Рау, Милля, Мак-Куллоха², показывающие знакомство с этими писателями; но их книги не такая редкость, чтобы уже и превозносить того, кому случится познакомиться с ними. Главным ресурсом для г. Горлова служит, новидимому, «Словарь политической экономии» Гильйомена³, — книга хорошая, спору нет, но вовсе не имеющая своим назначением служить источником для ученых сооружений. За что же можно похвалить г. Горлова? Разве за спокойствие, умеренность и скромность тона? Правда, это не составляет особенного достоинства при вялости изложения, а должно считаться только следствием вялости; но, так и быть, похвалим его книгу за отсутствие излишних претензий.

Говоря без тонкостей, это значит: мы не намерены нападать на книгу г. Горлова потому, что, при всей своей почтенности, она не заслуживает внимания. Есть читатели очень мнительные, которым все надобно доказывать. К числу их в настоящем случае, без сомнения, будет принадлежать и г. Горлов. «Вы говорите, что моя книга не заслуживает внимания, — извольте же доказать это». Пожалуй. В доказательство возьмем, чтобы не ходить далеко, хотя предисловие к «Началам политической экономии». Вот оно, все вполне. Читатель, который поверит нам на слово, может пропустить эту выписку, потому что, предупреждаем его, он не найдет в ней ничего, заслуживающего труда быть прочтенным.

В настоящее время в России поднято много весьма важных вопросов, тесно соединенных с народным благосостоянием. Чтоб прояснить свои понятия об этих вопросах, общество обратилось к науке, дотоле находившейся у нас в совершенном забвении, — к государственной экономии. Тогда оказалось, что хотя наука эта прежде и не была разрабатываема в нашей литературе, но что начала ее были более или менее распространены между многими образованными людьми чрез университетское преподавание или чрез изучение иностранных сочинений. Ибо, по первому призыву общественного мнения, возбужденного вопросами о свободе труда в сельском хозяйстве и торговле, о способах владения землею, о монополиях и других предметах, появились не только особые отделы в журналах, им посвященные, но даже основались специальные журналы, назначенные для разработки экономических идей и руководимые людьми весьма сведущими. При таком направлении нашего времени и при таких его потребностях, напрасно было бы оправдывать появление книги, заключающей в себе изложение начал государственной экономии.

Однакоже те ошиблись бы, которые, имея в виду вопросы современности, стали бы искать в этой книге практических правил и способов действия в данных случаях. В настоящее время появляется в России много разных планов и экономических проектов. Но не такова задача этой книги; она чужда всякого прожектерства и не есть собрание каких-нибудь политико-экономических рецептов и способов. В ней только излагаются естественные

законы экономии народов, и мы почти могли бы сказать вместе с французским экономистом К. Дюнойэ⁴: «*Je n'impose rien, je ne propose même rien, j'expose*»*. Но живая потребность ощущается, и именно теперь, в изучении этих естественных законов. И в самом деле, если прежние искусственные организации народной экономии, произведенные историческими обстоятельствами, удаляются со сцены, то надобно знать, каким естественным законам будет следовать народная экономия, когда она будет предоставлена самой себе.

При этом случае так называемые практики, конечно, упрекнул нас в ограниченности взгляда, который довольствуется старою, заброшенною формулою *laissez faire*** и полагается на естественные законы. Мы же, с своей стороны, находим, что эта формула есть великое, хотя и не исключительное начало, что она уже принесла и принесет еще огромную пользу всякий раз, когда заставит общество убедиться в бесплезности разных искусственных организаций, вроде *glebae adscriptio**** и тому подобных. А естественные законы установлены тою же великою силою, которая управляет целым миром; следовательно, по натуре своей, они не могут быть бедственными и разрушительными, и рассмотрение их всегда может сделаться достойным предметом весьма важной науки.

Нам скажут, что под влиянием естественных законов человек не только живет, но страдает и погибает. Это справедливо; так что же из этого? По естественным законам человек может впасть в бедность и расстроивать свое экономическое положение. Из этого выходит только то, что ему необходимо законы эти изучать, чтоб из них извлекать все пользу и, напротив, избежать зла. С последнею целию общество принимает некоторые меры; но это не показывает, что надлежит отвергнуть формулу *laissez faire*: это показывает только, что надлежит в известных случаях ее дополнять. Какова была бы медицина, если б она утверждала, что для поддержания здоровья человека надлежит постоянно возбуждать искусственными средствами его аппетит и таковыми же очищать его тело и что природа этого сделать не может, будучи предоставлена самой себе? И однакоже прежние экономические системы были проникнуты духом именно подобной медицины, ибо они искусственно возбуждали производство и потребление ценностей в обществах, не понимая, что для них существуют естественные законы. Таких-то экономических систем мы не признаем и желаем, чтобы они от прежней сложности действия и искусственности обратились к потерянной простоте и естественности.

Итак, мы излагаем теорию, естественные законы экономии народов. Но теория была бы жалкою и бесплодною отвлеченностию, если б она отвращалась от явлений современности, которые совершаются пред глазами всех и живо занимают всех, кому дороги важнейшие интересы человечества. В объяснении именно этих явлений лежит практическое значение теорий, излагаемых в науке. Современные экономисты, Мекколлок**** и Рошер, справедливо заметили, что важнейшая задача теоретика состоит в том, чтобы выразить и рассмотреть с надлежащей основательностию потребности своего времени. Мы старались не выпускать из виду эту точку зрения, излагая отвлеченные истины экономической науки, и, может быть, это-то придаст нашей книге некоторую особенность и практичность, несмотря на то, что в ней нет готовых планов действия и экономических проектов.

Обращаемся теперь к недоверчивым читателям, которые были своею мнительностию принуждены прочесть выписанное нами предисловие г. Горлова, и спрашиваем их: чего должно ожидать от книги, имеющей подобное предисловие? От него веет шести-

* «Я ничего не навязываю, я даже ничего не предлагаю, я просто излагаю». — *Ред.*

** Свобода хозяйственной деятельности. — *Ред.*

*** Прикрепление к земле (крепостное право). — *Ред.*

**** Маккуллок (при обычному правописанию). — *Ред.*

десятилетнюю рутиную, вы по крайней мере двадцать раз читали в разных книгах все то, что сказано на этих страницах, — и каким рутинным тоном изложены эти всем и всякому давно наскучившие мысли! Обратите внимание хотя на начало: «В настоящее время в России поднято весьма много важных вопросов» — ведь этими самыми словами начинается ныне решительно каждый, что бы ни начинал писать, — фельетон о загородных гуляньях или пении г-жи Лагруа в «Норме», об освобождении крепостных крестьян или о новоизобретенной помаде для рощения волос. Итак, «в настоящее время» появление «Начал политической экономии» своевременно. Почему же? Вероятно, потому, что она дает решения для «вопросов», поднятых в настоящее время? Нет, она «не есть собрание политико-экономических рецептов и способов (к чему?). — В ней не найдется практических правил и способов действия в данных случаях». Она только описывает, а не предписывает, — прекрасно; но в таком случае, к чему же начинать фразу «в настоящее время»? И какую ветхостью пахнет мысль, что наука только описывает факты, а не предлагает правил! Неужели из таких фраз можно составлять предисловия? И кто придумал эту мысль? Несчастный Жан-Батист Сэ⁵, как уловку для смягчения Наполеона, не любившего, чтобы «идеологи» мешали ему воевать! Это — отговорка, избитая уловка, а г. Горлов принимает ее за чистую монету. Где вы найдете книгу о политической экономии, которая не требовала бы свободы труда и отменения протекционной системы? Сам г. Горлов требует этих вещей. Почему же он не замечает, что книга его противоречит своему предисловию? — Потому не замечает, что и содержание книги, и содержание предисловия им составлены просто по рутине. Довольно будет того, говорит он, если наука убедит в бесполезности искусственных организаций «вроде *glebae adscriptio*» — какая скромность в прелестном выражении *glebae adscriptio* вместо «крепостное право»! Книга подписана г. цензором 6 апреля и 11 августа 1859 года, когда уже свободно позволялось говорить о вреде крепостного права, а г. Горлов все еще не решился употребить этот прямой термин в предисловии к ней, как будто писал пятнадцать лет тому назад. И будто бы крепостное право — искусственная организация? Просмотрите книгу ле-Пле «*Les ouvriers*»⁶ или хотя Рошера, — вы увидите, что оно возникает так же естественно, как впоследствии возникает отношение наемного работника к капиталисту. Естественность известного явления, к сожалению, вовсе не ручается за его сообразность с здравыми экономическими понятиями. У древних, например, естественно развилось в теории понятие, а в практике явился обычай, что свободному гражданину неприлично работать — ну что тут хорошего? Начитавшись Бастиа⁷, который особенно много разыгрывал вариаций на слово искусственность, г. Горлов забыл, что искусственным образом не производится в обществен-

ной жизни ровно ничего, а все создается естественным образом, — дело не в том, чтобы сказать «это естественно», а в том, чтобы разобрать, ко вреду или к пользе общества это служит. Ведь и протекционная система — явление совершенно естественное в известных обстоятельствах (то есть, когда масса не имеет здравых экономических понятий, проникнута завистью к иноземцам, думает, что богатство состоит главным образом в деньгах и т. д.), — а по словам самого г. Горлова, в ней нет ничего хорошего. Война тоже дело самое естественное и останется самым естественным делом в истории, пока массы не будут перевоспитаны. Г. Горлов вслед за своими учителями говорит о естественности и искусственности, но сами его учителя не знают хорошенько смысла употребляемых ими понятий; мы на следующих страницах поговорим об этом подробнее, а теперь заметим еще один милый факт все о том же деликатном *glebae adscriptio*. «В настоящее время, когда поднято так много вопросов», ведется дело, между прочим, и об уничтожении у нас крепостного права. У нас некоторые полагают, что освобождаемые крестьяне будут лениться, не захотят наниматься на обработку полей, и земледелие упадет, количество производимого Россией хлеба уменьшится от освобождения крестьян. Интересно было бы знать, подтверждаются ли такие опасения последствиями подобных реформ в других странах. О том, каковы были экономические последствия освобождения крестьян во Франции, Пруссии, Австрии и других европейских землях — г. Горлов ничего не говорит; единственный пример освобождения, экономические результаты которого подробно пояснены у него, — уничтожение рабства в английских и французских колониях. К чему же привела эманципация английских вестиндских невольников? ⁸ Вот к чему, по словам г. Горлова (стр. 145 и 146): «Для плантаторов оказались неудобства, состоявшие в том, что рабочих нельзя было находить без большого затруднения. Негры не хотели заниматься прежними работами, а стали возделывать пустопорожные земли, или заниматься мелкими промыслами, или предаваться праздности. Только огромная плата могла привлечь их на плантации, так что во время жатвы поденщики получали до 3 и даже 4 рублей. Это положение, проистекавшее от недостатка рук, через несколько месяцев было причиною того, что работа на многих плантациях была совершенно прекращена. Разумеется, и производство сахара соответственно уменьшилось». Затем следует ссылка, разумеется, на «*Dictionnaire de l'économie politique*», служащий главным ресурсом для г. Горлова, и приводится из этого словаря таблица, показывающая, по словам г. Горлова, что «производство сахара, постепенно уменьшаясь, дошло только до двух третей в период 1842—1846 годов» сравнительно с тем количеством, какое производилось в 1827—1831 годах, до освобождения негров. Далее г. Горлов подробно объясняет, «до какой степени пострадали колонии» от

освобождения негров. В Гвиане, например, по его словам, «цена многих плантаций чрезвычайно упала», и заключает свое суждение словами: «Итак, с экономической точки зрения и имея в виду одни только настоящие, современные интересы, эманципация была делом разорительным» (ст. 147). На той же и следующей страницах говорится, опять по свидетельству того же драгоценного ученого пособия, «Dictionnaire de l'économie politique», что «те же хозяйственные последствия, которые обнаружались в английских владениях, оказались и во французских колониях», и до сих пор, в течение целых одиннадцати лет, «благополучие колоний все еще не восстановилось» (стр. 148). «Dictionnaire de l'économie politique», изданный для французской публики, может безопасно говорить ей об этом предмете какой угодно вздор, потому что освобождение там — уже дело конченное и безвозвратное. Но русский автор, пишущий для общества, в котором вопрос об освобождении еще не покончен, не должен был бы без всякой критики заимствовать всякое пустословие о вредных последствиях освобождения из французских книжек или книжищ с дурным направлением, потому что у нас нелепые суждения об этом предмете могут иметь дурное влияние. Если бы г. Горлов потрудился справиться с отчетами о совещаниях французского конституционного собрания 1848 года, провозгласившего освобождение негров во французских колониях, он увидел бы, что та партия, которая писала статьи «Dictionnaire de l'économie politique», была партией плантаторов, противилась освобождению негров, и увидел бы, как опровергались мнения этих почтенных людей Шельхером, главным двигателем освобождения негров⁹. Он понял бы тогда, что бедствия, на которые жалуются французские плантаторы, были произведены не освобождением негров, а безрассудным поведением самих плантаторов, противившихся освобождению, раздраживших негров и не захотевших вести свое хозяйство рациональным образом. Он мог бы оценить тогда справедливость их жалоб на леность негров. Дело очень просто: плантаторы не хотели по освобождению негров изменить порядка работ, существовавшего при невольничестве, не хотели обращаться с неграми, как с людьми свободными, хотели сохранить на работах бич как поощрение к труду, не хотели ни платить неграм за работу, ни изменить устройства своих плантаций так, как требовали новые условия труда. Само собою разумеется, что и в Пруссии разорился бы тот помещик, который захотел бы теперь сохранять в своем поместье барщину и плеть. Совершенно неизвинительно легкомыслие, с которым г. Горлов также повторяет жалобы английских вест-индских плантаторов. Если бы он потрудился прочесть полемику, которая велась об этом предмете в английских газетах много раз, и между прочим в начале нынешнего года, он увидел бы, что жалобы плантаторов на неохоту негров работать лишены всякого основания, — да, повторям; лишены всякого основания. Плана-

торы в большей части колоний просто не хотят платить им порядочного жалованья, — это доказано официальным образом, об этом свидетельствуют сами губернаторы колоний. А в тех колониях, где плантаторы отказались от вражды против негров, где они нанимают их по добровольному соглашению, как нанимаются работники в Западной Европе, никакого недостатка в рабочих силах не чувствуется и негры работают как нельзя усерднее. Напрасно г. Горлов принял без критики пустословие «*Dictionnaire de l'économie politique*», напрасно он не потрудился справиться с подлинными документами. Вопрос о том, действительно ли освобождение в вест-индских колониях имело те следствия, как утверждают плантаторы, слова которых легковерно повторяет г. Горлов, слишком важен для нас; потому в одной из следующих книжек «Современника» мы переведем статью *Edinburgh Review*, подробно излагающую ход дела в английских вест-индских колониях¹⁰. Документы, в ней приводимые, доказывают, что экономическое падение колоний началось задолго до уничтожения невольничества; что главною причиною его было самое существование невольничества; что производство сахара в колониях начало уменьшаться до уничтожения невольничества; что эманципация не усилила этого явления, происходившего от других причин; что, напротив, выгодные последствия его, наконец, одолели силу причин, уменьшавших производство сахара, что свободный труд дал плантаторам возможность выдержать соперничество с другими производящими сахар странами, которые совершенно задавили бы производство английских колоний, если бы эти колонии сохранили невольничество, — одним словом, что освобождение негров имело последствия, совершенно противные тем, какие приписываются ему неразумною злобою плантаторов: не разорило колонии, а спасло их от совершенного разорения, являвшегося следствием невольничества.

Понятие, сообщаемое нам книгою г. Горлова о последствиях эманципаций, может служить примером того, до какой степени оправдываются содержанием его книги слова его, будто бы он «не выпускал из виду точку зрения», по которой «важнейшая задача теоретика состоит в том, чтобы выразить и рассмотреть с надлежащею основательностью потребности своего времени». Надобно ли говорить о том, сколько свежести и занимательности имеет столь удачно осуществляемая им мысль, что «теория», «не давая готовых планов действия», не должна, однакоже, «отворачиваться от явлений современности, которые совершаются перед глазами всех и живо занимают всех, кому дороги важнейшие интересы человечества»?

Таким образом, предисловие г. Горлова составлено из мыслей, которые, быть может, имели свежесть лет пятьдесят тому назад, но составлять из которых предисловие к сочинению, издаваемому «в настоящее время», быть может, значит наводить читателя на

предположение, что он в самой книге не найдет ничего, кроме истертой школьной рутины. Вдобавок сличение этих обещаний предисловия с содержанием книги показало нам, что г. Горлов набирает ветхие взгляды из своих учителей, не думая о том, оправдываются ли они подробностями той самой теории, которую он излагает. Он восстает против искусственности и не замечает, что, например, меркантильная система, которую главным образом имеет он в виду («прежние экономические системы», которые «искусственно возбуждали производство и потребление ценностей в обществах», — эти слова явно служат характеристикой меркантильной системы), — не замечает того, что меркантильная система была в свое время явлением самым естественным, да и никогда не бывало ничего искусственного в экономических явлениях; он заимствует слово искусственность из Бастиа, не замечая, что оно годилось только для полемики, а серьезного смысла в себе не заключает. Он обещает надлежащим образом рассматривать живые вопросы и по важнейшему из них, по эманципации, без всякой критики повторяет ложные уверения людей, защищавших рабство и озлобленных его уничтожением.

Нам кажется, что нет надобности подробно разбирать книгу, снабженную таким ветхим предисловием. Нам кажется, что нет оснований и нападать на такую книгу: бог с ней, она не привлечет к себе ничьего внимания; потому чем меньше говорить о ней, тем сообразнее будет с ее достоинством.

Если бы нам следовало всю эту статью посвятить собственно книге г. Горлова, статья была бы, как видим, очень коротка. Но мы вздумали воспользоваться появлением его ветхого труда, чтобы поговорить об отношениях нашего взгляда на экономические явления к той системе, учеником которой является г. Горлов. Мы часто спорим против нее, смеемся над нею; но до сих пор наши споры и насмешки относились к разным частным вопросам экономической жизни — к теории невмешательства общественной власти в экономические явления, к отвержению общинной поземельной собственности и т. д.¹¹ Теперь мы хотим взглянуть на дело в его общем характере.

Если мы называем отсталыми, неверными и вредными многие мнения той школы, учение которой у нас исключительно называется политической экономией, то из этого еще вовсе не следует, чтобы мы не признавали за неоспоримые и благотворные истины очень многих существующих положений школы, называющей своим основателем Адама Смита. Например, без всякого сомнения, постоянная меновая ценность продукта определяется издержками его производства, а рыночная, ежедневно колеблющаяся цена его — отношением запроса к предложению; без всякого сомнения также, разделение труда служит одним из могущественнейших условий для увеличения и усовершенствования производства. Мы могли бы насчитать множество подобных цо-

лжений, с которыми мы вполне согласны; но такой список подробностей всегда остался бы неполон, а между тем был бы слишком утомителен; мы думаем, что лучше определим отношение своего взгляда к господствующей школе политической экономии, если вместо перечисления подробностей, в которых согласны с нею, выскажем свою мысль об основной идее, которая составляет общий источник всех этих частных мыслей. Мы удивим многих так называемых экономистов, если скажем, что вполне принимаем основную идею их системы. «Как? вы признаете принцип *laissez faire, laissez passer*? — скажут с изумлением так называемые экономисты, воображающие, что понимают теорию, которой держатся и против которой мы постоянно спорим. «Если так, зачем же вы защищаете столь противоречащие этому принципу мысли, как законодательное определение экономических отношений и общинное владение землею?» — прибавят они с негодованием. Из такого понятия о принципе *laissez faire, laissez passer* следует только, что так называемые экономисты сами не разумеют оснований теории, которой следуют. Чтобы объяснить им их ошибку в этом случае, мы должны будем коснуться мыслей, которые относятся не к одной политической экономии, а принадлежат к общей теории какой бы ни было науки. Читатель увидит, что многие из соображений, на которых основан наш взгляд на экономические вопросы, имеют подобный характер.

Идеи, предписывающие что-нибудь делать, стремиться к чему-нибудь, словом, имеющие практический характер, по обширности своего применения разделяются на два разные рода. Одни имеют значение общее, требуют применения ко всякому данному случаю, всегда и везде. Таковы, например, принципы: человек обязан искать истины, поступать честно; общество обязано стремиться к водворению в себе справедливости, законности. Цель действия указывается такими принципами; но говорят ли они о способе, которым надобно стремиться к ней? Нет, способ исполнения задачи нимало не определяется ими. Как скоро мысль указывает способ исполнения, она теряет характер всеобщей, безысключительной применимости. Возьмем, например, самое общее определение способа к исполнению обязанности поступать честно. Оно будет: не лги. На первый раз может показаться, что это правило не допускает исключения. Но Муций Сцевола сказал Порсене: «Таких людей, как я, в Риме триста человек»; он солгал, — он был один; но кто осудит его, когда он своим обманом спас отечество? В одной из сербских песен о битве на Косовом поле, сербы посылают своих витязей осмотреть силы врага. Витязи возвратились; «много ли войска у турок?» — спрашивают их. «Нет, войска у турок не очень много; мы можем одолеть его», — отвечают они войску; потом отводят в сторону князя Лазаря и говорят: «У турок бесчисленное войско; победить их нет возможности; мы сказали, что турок немного, чтобы не оробели сербы».

Кто осудит этих витязей? А ведь они солгали. Они поступили бы нечестно, если бы сказали войску правду. Мы нарочно взяли такой способ действия, который представляется имеющим самый высокий характер безысключительности. Но и он, как видим, встречает случаи, в которых не соответствует общей обязанности человека поступать честно, когда его нарушение составляет высокую доблесть. Всякое другое правило о способе действия допускает еще гораздо больше исключений. Надобно ли говорить, почему это так, — почему мысль, определяющая способ действия, никак не может иметь характера всеобщности, и характер этот может принадлежать только мыслям, определяющим цели действия? Цель практической деятельности постановляется природою человека, то есть элементом, присутствующим постоянно. Способ действия есть элемент, зависящий от обстоятельств, а обстоятельства имеют характер временный и местный, разнородный и переменчивый. «Поступай честно» — это можно и должно соблюдать всегда, потому что нарушение этого правила противоречит благу человека, противоречит его натуре; условие, из которого вытекает эта обязанность, неразлучно с человеком, как неразлучен с ним его организм. Но в чем состоят требования честности, — это определяется частным характером каждого данного положения; иногда честность требует сказать правду, иногда — отказаться от личной выгоды, иногда она требует стать во вражду с кем-нибудь другим, поступающим нечестно, иногда помочь ближнему; нельзя перечислить всех тех способов, которыми должна быть осуществляема в разных обстоятельствах обязанность поступать честно; мы видели, что эти способы при противоположности обстоятельств могут даже иметь характер взаимного противоречия. В большей части случаев, почти всегда, но только почти всегда, а не абсолютно всегда, честность требует соблюдения истины; но мы видели, что иногда она требует ее нарушения*.

Теперь мы спросим так называемых экономистов: какой смысл имеет их обожаемая фраза: *laissez faire, laissez passer*, что хотят они определять ею: цель экономических учреждений или способ достижения этой цели? Что они хотят сказать, когда произносят эти слова? Говорят ли они только то, что экономические учрежде-

* Нет надобности замечать, что случаи, в которых нарушение истины может допускаться, принадлежат исключительно практической сфере, жизни действия, а не жизни мысли, не теоретической сфере. В теории, в исследовании принцип: «ищи истины, распространяй истину» определяет задачу, цель деятельности, а не способ исполнения этой задачи. Потому этот принцип абсолютен. Но как осуществлять его? На это опять есть разные способы, из которых ни один не может претендовать на безысключительность. Иногда и от некоторых людей служение истине требует заботы о новых исследованиях в области науки; иногда нарушил бы человек свои обязанности перед истиною, если бы отдал свои силы на новые исследования, — это бывает тогда, когда он может оказать истине больше услуг простым распространением уже найденных наукою истин в массе, нежели какими-нибудь учеными изысканиями.

ния должны стремиться к доставлению наибольшей возможной свободы человеку, — или полагают сказать, что устранение законодательных определений, стеснений и запрещений есть единственный способ к водворению наилучшего экономического порядка? В первом случае, если бы знаменитая фраза хотела определять только цель экономических учреждений, в ней не было бы очевидного противоречия с характером принципов, могущих иметь всеобщность. Нужно было бы исследовать, действительно ли это правило верно, действительно ли оно составляет результат изысканий политической экономии; но не было бы еще причины, без всяких исследований, с первого же взгляда называть его несоответствующим придаваемой ему претензии. Но в таком случае принцип *laissez faire, laissez passer* теряет всякую определенность и становится решительно неспособен к полемическому употреблению, какое придают ему так называемые экономисты. Тогда и меркантилист, и коммунист, и регламентатор одинаково с экономистом могут говорить, что система каждого из них служит осуществлением этого принципа. «Цель экономических учреждений есть наибольшая возможная свобода, — скажет, например, меркантилист. — Мне кажется, что при запретительном тарифе цель эта достигается полнее, нежели при ограничении пошлин чисто фискальною целью. Без запретительных пошлин житель Франции не мог бы делать свекловичного сахара, а запретительный тариф дает каждому французу эту возможность, — следовательно, расширяет круг его выбора между экономическими деятельностями — следовательно, дает ему больше свободы». Регламентатор в свою очередь сказал бы: «свободен только тот, кто безопасен; определим же ширину коленкора, определим, сколько ниток должен иметь дюйм каждого сорта этой ткани, сколько веса должен иметь каждый кусок каждого сорта и по какой цене должен продаваться; тогда покупатель обеспечен от плутовства фабрикантов, — следовательно, свободен». Что сказал бы коммунист, — мы не хотим объяснять. Без всякого сомнения, экономист мог бы опровергнуть приведенные нами рассуждения регламентатора и меркантилиста; но он мог бы опровергнуть их только со стороны фактических ошибок, а не мог бы упрекнуть их в недостатке любви к принципу *laissez faire, laissez passer*, если этот принцип определяет только цель учреждений, а не способ достижения цели. Они могли бы говорить, что, по их мнению, регламентация или запретительный тариф служат способами к достижению этой цели. Итак, очевидно, что если фраза *laissez faire, laissez passer* служит девизом одной из спорящих теорий, то она определяет не только цель (в этом смысле могли бы принять ее все без исключения экономические школы), а указывает также способ исполнения задачи. Действительно, в таком смысле понимают эту фразу все ее приверженцы. Когда они произносят ее, они говорят не то одно, что экономические учреждения должны

стремиться к водворению наибольшей свободы в обществе, — они говорят также, что какова бы ни была цель общественных учреждений, эта цель может быть достигаема исключительно одним способом: отстранением законодательного вмешательства в экономические отношения. Экономисты не могут указать ни одного сочинения своей школы, в котором их любимая фраза не употреблялась бы постоянно именно в этом определительном смысле, как указание исключительного способа к исполнению требований науки.

После наших предыдущих объяснений читатель видит, что даже без всяких исследований, уже по одному своему характеру, фраза *laissez faire, laissez passer*, определяющая способ действия, выказывает себя лишенной возможности служить основным принципам науки. Характер науки есть всеобщность; она должна иметь истину для всякого времени и места, для всякого данного случая. Когда нравственная философия говорит «поступай честно», она дает правило, которое прилагалось и в допотопные времена и будет применяться во все бесконечное продолжение будущего. Когда юриспруденция говорит «оправдывай невинного и осуждай виновного», она также дает правило, от применения которого не должен быть исключен никакой случай, никогда и нигде. Если политическая экономия имеет претензию принадлежать к области наук, то есть заключать в себе хотя малейшую частицу теоретической истины, она также должна иметь своим основным принципом такую мысль, которая применялась бы во всякое время ко всякому данному случаю. Мы видели, что мысли, определяющие способ действия, никак не могут иметь такой всеобщности. Если бы так называемые экономисты были знакомы с архитектурикою наук, они поняли бы, что, придавая фразе *laissez faire, laissez passer* смысл, определяющий способ действия, они отнимают у своей теории всякий научный характер, когда ставят основным принципом ее эту фразу.

Но предположим, что мы исправили эту слишком резкую сторону их ошибки, извиняемую только недостатком философского образования в представителях школы, над которой мы так часто смеемся. Попробуем принять их обожаемую фразу в таком смысле, который не показывал бы на первый же взгляд свою несообразность с претензией служить общим принципом науки. Положим, что выражение *laissez faire, laissez passer* не имеет претензии определять способа, а говорит только о цели. Пусть оно значит только: целью экономических учреждений и должно быть водворение наибольшей возможной свободы. В таком смысле оно имеет всеобщность значения. Мы видели, что в этом случае оно уже не может служить девизом какой-нибудь одной из враждующих школ, а принимается за истину всеми без исключения честными людьми, к какой бы школе кто из них ни принадлежал. Оно уже становится непригодным для полемического употребления в спорах

между порядочными людьми; но может ли оно, хотя в этом своем всеобщем смысле, служить основным принципом политической экономии, как отдельной науки, занимающейся исследованиями о производстве и распределении ценностей? Опять для каждого, знакомого с общими понятиями о науке, очевидно, что политическая экономия никак не может удовлетвориться подобным принципом. Каждый предмет имеет свой собственный характер, которым отличается от других предметов, или, как говорится, имеет свою индивидуальность. Потому основной принцип каждой науки должен иметь в себе особенность, должен быть таков, чтобы принадлежал именно этой науке; например: нравственная философия говорит «поступай честно», юриспруденция — «заботься об оправдании невинного и осуждении виновного»; это две мысли решительно различные. Но говорила ли бы что-нибудь свое, что-нибудь специальное политическая экономия, если бы сущность ее выражалась правилом «водворяй свободу»? Это одна из задач, равно принадлежащих всем нравственным и общественным наукам. Общий принцип всех их: служить благу человека. Свобода, подобно истине (или, лучше сказать, просвещению, потому что здесь имеется в виду субъективное развитие истины в индивидуумах), не составляет какого-нибудь частного вида человеческих благ, а служит одним из необходимых элементов, входящих в состав каждого частного блага; свобода и просвещение — это кислород и водород, которые не могут быть предметами особенных наук, потому что и сами по себе не составляют отдельных предметов, не могут существовать в природе независимым, самостоятельным образом, отделяются от других элементов только искусственным анализом, но без которых не существует в природе никакая жизнь. Какое благо ни возьмете вы, вы увидите, что условием его существования служит свобода; потому она составляет общий предмет всех нравственных и общественных наук, — водворение свободы служит общим принципом их. Для чего юриспруденция старается оградить личность и собственность своими гражданскими и уголовными законами и своими приговорами? Для того, чтобы человеку свободнее было жить на свете. Могут ли быть хороши гражданские или уголовные законы, которые клонятся не к увеличению, а к уменьшению свободы? Никак не могут быть хороши. Возьмем какую угодно другую нравственную или общественную науку, — о предмете и цели каждой из них вы должны сказать то же самое. В числе других наук, это надобно сказать и о политической экономии. Но точно такую же роль в нравственных науках играет, как мы заметили, и просвещение. Его интересы также служат неизменно нормою того, хорошо или худо какое бы то ни было общественное учреждение, хорошо или дурно какое бы то ни было правило, имеющее претензию определять жизнь частного человека или общества. Но где же отдельная наука о просвещении? Для какой науки может служить

специальным принципом правило: «водворяй просвещение»? Это общий принцип всех нравственных и общественных наук. В числе их, и о политической экономии должно сказать: соответствие интересам просвещения служит нормою ее правил, распространение просвещения верховною целью забот ее. Итак, если говорить *laissez faire, laissez passer*, то надобно также сказать: *laissez éclairer, laissez être intelligent*, — давайте свободу, давайте просвещение, Без этих двух вещей ничего хорошего не бывает; потому обе они равно должны служить принципами для политической экономии, которая, разумеется, должна стремиться к тому, чтобы на свете становилось не хуже, а лучше. Но должно прибавить, что к этому не стремятся все нравственные и общественные науки, и потому у всех у них общий девиз: свобода и просвещение.

Если выражение *laissez faire, laissez passer* не может быть принципом никакой науки в смысле, определяющем способ действия; если в смысле, определяющем только цель научных исследований, это выражение не может служить специальным принципом ни одной из нравственных и общественных наук, будучи одинаковою нормою для успешности исследований во всех в них, то какой же принцип надобно назвать основной идеею политической экономии, — идеею, специально принадлежащую этой науке? Если так называемые экономисты доказывают только свое незнание с общими философскими понятиями, забавным образом поставляя гордость свою в выражении, не имеющем специальной связи ни с какой частною наукою и отнимающем у их теории всякое научное достоинство, то в какой же формуле надобно видеть основной вывод всех их частных исследований? Если бы они были сколько-нибудь знакомы с философскими приемами, для них было бы очень легко разрешить задачу, которую теперь мы хотим объяснить для них по состраданию к их философской беспомощности.

Предмет политической экономии, по общему решению всех экономистов, составляет изучение условий производства и распределения ценностей, или предметов потребления, или предметов, нужных для материального благосостояния человека. Экономисты говорят, что политическая экономия распадается поэтому на две главные части: о производстве и о распределении продуктов. Все они согласны, что двигателем производства служит личный интерес; все они говорят, что счет и мера должны служить постоянным руководством для всех соображений в политической экономии. Кажется, эти вещи очень знакомы каждому из них; посмотрим же теперь, не достаточно ли будет этих основных понятий для отыскания верховного принципа политико-экономических стремлений? Для облегчения дела мы сначала взглянем на решение задачи для каждой из двух главных частей политической экономии в отдельности.

Личный интерес есть главный двигатель производства. Энергия производства, служащая мерилом для его успешности, бывает

всегда строго пропорциональна степени участия личного интереса в производстве. Кажется, мы говорим мысли, от которых никогда не отступался ни один экономист. В чем же состоит личный интерес? Он состоит в стремлении владеть вещью. Полное владение вещью называется правом собственности над вещью. Итак, личный интерес вполне удовлетворяется поступлением вещи в собственность. Поэтому энергия труда, то есть энергия производства, соразмерна праву собственности производителя на продукт. Из этого следует, что производство находится в наивыгоднейших условиях тогда, когда продукт бывает собственностью трудившегося над его производством. Иными словами, — работник должен быть собственником вещи, которая выходит из его рук.

Мы не знаем, нужно ли объяснять примерами эту очень простую истину. На своем огороде каждый работает усерднее, нежели на чужом; поэтому самое выгоднейшее дело бывает тогда, когда огород принадлежит человеку, копающему в нем гряды. Избу для себя каждый строит усерднее, чем для другого; поэтому самое выгодное дело бывает тогда, когда изба принадлежит тому, кто обтесывал лес и пилил доски для ее постройки.

Теперь обратимся к закону наивыгоднейшего распределения ценностей. Тут нужно руководиться счетом и мерой; но вычисления будут очень простые: четыре правила арифметики будут достаточны для разрешения задачи. В статье «Экономическая деятельность и законодательство» мы уже говорили, как она решается, и здесь кратко повторим наши тогдашние слова. Наивыгоднейшее распределение ценностей есть то, при котором данная масса ценностей производит наибольшую массу благосостояния или наслаждения. Будем выражать степень его цифрами. Предположим, что сумма ценностей есть 1000, а число лиц, составляющих общество, есть 100. Предположим сначала, что в руках одного сосредоточилась ценность 604; тогда на остальных 99 лиц осталось 396, то есть на каждого по 4. Предположим теперь, что распределение ценностей изменилось, и в руках одного сосредоточилось, вместо 604 — сумма 802, тогда прочим 99 лицам остается только 198, то есть на каждого из них приходится только ценность 2. Сравним это положение с прежним и посмотрим, увеличилась или уменьшилась сумма благосостояния в обществе. Выиграл один, и его благосостояние увеличилось на одну третью часть против прежнего; проиграла 99, и благосостояние каждого из них уменьшилось на половину. Итак, мы имеем одну третью часть единицы выигрыша и 99 половин единицы проигрыша, то есть за вычетом плюса из минуса мы имеем ровно $49\frac{1}{6}$ единиц чистого проигрыша. Это значит: общество пострадало на столько, как будто из 100 человек 49* лишились всякого пропитания.

* В полном собрании сочинений 1906 года и в «Избранных сочинениях» т. II, полумом 2, оба раза вместо 49 напечатано 44. — Ред.

Теперь взглянем на перемену в противоположном направлении. Предположим такое распределение ценностей, что у единицы, у которой сосредоточивалась ценность 604, осталась только ценность 406; тогда на остальных 99 приходится 594, то есть на каждого по 6. Это значит, что у одного благосостояние уменьшилось на половину, а у 99 других возросло у каждого на половину. Вычитая минус из плюса, мы имеем 49 чистого выигрыша. Это значит: общество выиграло на столько, как будто из 100 человек 49* от совершенной нищеты перешли к благосостоянию. Из этого следует, что наивыгоднейшее распределение ценностей производится такими отношениями и учреждениями, при которых общество идет к соразмерности между количеством ценностей, действительно принадлежащих каждому лицу, и тою долей ценностей, какая приходилась бы на его часть по отношению количества лиц, составляющих общество, к массе ценностей, находящихся в этом обществе.

Итак, основною идеею учения о производстве мы находим полное совпадение идеи труда с правом собственности над продуктом труда; иначе сказать, полное соединение качеств собственника и работника в одном и том же лице. Основной идеей учения о распределении ценностей мы находим стремление к достижению, если можно так выразиться, такого порядка, при котором частное число (количество ценностей, принадлежащих лицу) определялось бы посредством арифметического действия, где делителем ставилась бы цифра населения, а делимым — цифра ценностей.

Читатель, привыкший к философским приемам, без труда увидит, что оба найденные нами принципа служат выражением совершенно одной и той же идеи стремления к одному и тому же факту, только с разных сторон. Действительно, когда мы берем значительную массу людей, то все индивидуальные различия сливаются в средней цифре. Иван может быть вдвое сильнее или умнее Петра; но, вообще говоря, в каждом обществе существует известный уровень умственных и физических сил и масса индивидуумов очень близка к этому уровню, а замечательных исключений из него в дурную или хорошую сторону так немного, что при общих соображениях о порядке дел в целом обществе они составляют элемент решительно незначительный. Притом же эти отклонения, эти слишком сильные или слишком слабые индивидуумы являются разбросанными по разным группам родственных и других гражданских отношений, так что в каждой скольконибудь значительной группе взаимно уравниваются. Таким образом, надобно принимать, что в каждой группе родства или в каждой группе соседства сумма физической и умственной спо-

* То же, причем сделано следующее примечание: «Оставляем цифры этих двух примеров так, как они напечатаны в «Современнике», хотя полагаем, что, вероятно, корректура этих цифр в «Современнике» осталась невыправлена. Примечание издателя». — *Ред.*

способности к труду очень близка к общему уровню этой способности для целого общества. Потому из принципа о соединении труда и собственности в одних и тех же лицах и из права собственности каждого лица на продукты его труда прямо следует распределение ценностей, совпадающее с найденным нами мерилом наивыгоднейшего распределения, то есть с распределением по средней цифре. С практической точки зрения почти все равно, которому из этих двух принципов отдать первое место. Но в теории принцип производства, то есть соединение собственности в одном лице с трудом, представляется как преобразование, или вывод, или как частный случай принципа о наивыгоднейшем распределении ценностей, имеющего более общее значение. Действительно, труд предполагает материю, над которой производится; продукт предполагает существование предшествующего ему продукта, из которого он происходит через приложение труда; таким образом, распределение существующих ценностей представляется условием производства. Кроме того, ценность сама по себе есть понятие более обширное, нежели понятие производства, которое составляет только один из моментов, проходимых ценностью: всякое производство обращено на созидание ценности, но ценность не есть предмет одного производства, она служит также предметом сохранения, мены и потребления. Прибавим, что производство имеет свою цель не в самом себе, а в потреблении, а потребление имеет свою основную распределение ценностей, потому и основной предмет исследований политической экономии находится в теории распределения; производство занимает ее только как подготовку материала для распределения.

Читатель, привыкший к анализу общих понятий, конечно, улыбается, читая такие азбучные рассуждения, слишком знакомые «каждому, даже не учившемуся в семинарии». Но для большинства так называемых экономистов, решительно незнакомых с философскими терминами и приемами, они должны показаться столь же трудною абстрактностью, как для обыкновенного человека теория эллиптических функций. Желая как-нибудь повразумительнее для их непривычных мыслительных сил растолковать изложенные нами азбучные понятия, мы скажем, что они могут уразуметь, в чем дело, если потрудятся подумать о фактах, которые находятся в каждой из книг, написанных их учителями или даже ими самими.

Например Плиний как-то сказал: «большепоместность разорила Италию» — *latifundia perdidere Italiam*¹². Экономисты с восторгом от своей учености тычут эту фразу в подлинных латинских словах в глаза каждому читателю, кстати и некстати: смотри, дескать, — мы и по-латыни знаем, и Плиния читали. Это хорошо. Но в чем смысл слов Плиния, приводящих в восхищение каждого экономиста? В том, что распределение поземельной собственности в Италии удалось от средней цифры, происходившей из отно-

шения числа югеров* к числу семейств, населявших Италию. Пока были в действии благотворные законы об общественной земле, *ager publicus*, из которой каждому гражданину давался небольшой участок, достаточный для прокормления его семейства, пока Цинциннат и Регул, командовавшие войсками, сами пахали землю, до тех пор Рим был и честен, и благосостоятелен, и могуществен. Когда «умнейшие и лучшие люди», «*optimates*», убедили римлян, что общественная земля — бесплодное бремя, что частная поземельная собственность производительнее, когда *ager publicus* перешел в частную собственность, Италия разорилась и Рим погиб. Мы советуем экономистам прочесть, что говорит Нибур о законах Лициния Столона, оградивших на некоторое время общественную землю от вторжения частной собственности и бывших источником всего римского величия, всех гражданских и частных добродетелей, всего благосостояния для римлян¹³.

Экономисты с большим удовольствием рассуждают также об экономической невыгодности рабства; они удивляются в этом случае необыкновенным благородством, с которым изобличают чужие недостатки. Пусть они подумают об основных чертах рабства, — они увидят повторение всех этих невыгодных обстоятельств при таком порядке вещей, где собственность и труд не соединены в одном лице. Невольник получает за свой труд пищу, жилище, и т. д., — то, что необходимо для поддержания его жизни, а продукт его труда принадлежит не ему. Вот существенная черта невольничества. Пусть же экономисты припомнят собственные свои слова о норме заработной платы: нормою заработной платы служит возможность поддержания жизни; она не может ни далеко, ни надолго подняться выше этой нормы, — это их собственные слова. Итак, со стороны отношения труда к вознаграждению за труд вся разница между невольником и наемным работником заключается в том, что невольник получает вознаграждение натурой, а наемный работник — деньгами; невольнику дается жилище, работнику даются деньги, на которые он сам должен приискать себе жилище; но количество вознаграждения в обоих случаях совершенно одинаково: оно определяется возможностью поддержать существование. Велика или мала ценность продуктов, производимых, например, в течение недели трудом наемного работника, это все равно для него, как и для невольника: во всяком случае он, подобно невольнику, получит за свой труд ни больше, ни меньше того, сколько нужно для поддержания его существования. Поэтому мы говорим, что между состоянием невольника и наемного рабочего существует огромная разница в нравственном и в юридическом отношениях; но специальной экономической разницы в их отношениях к производству нет никакой. Если труд

* Просим читателя удивиться и нашей учености: мы нарочно оставили слово югер, чтобы он видел громадность наших сведений: мы знаем, что у римлян земля измерялась не десятинами, а югерами. О, бедна учености!

свободного наемного работника производительней, нежели труд невольника, — это зависит от того, что свободный человек выше невольника по нравственному и умственному развитию; потому и работает несколько умнее и несколько добросовестнее. Но эта причина превосходства, как видим, совершенно чужда экономическому его отношению к производству; потому мы и говорим, что если нравственная философия и юриспруденция удовлетворяются уничтожением невольничества, то политическая экономия удовлетворяется этим никак не может; она должна стремиться к тому, чтобы в экономической области была произведена в отношениях труда к собственности перемена, соответствующая перемене, производимой в нравственной и юридической области освобождением личности. Эта перемена должна состоять в том, чтобы сам работник был и хозяином. Только тогда энергия производства поднимется в такой же мере, как уничтожением невольничества поднимается чувство личного достоинства.

Эти два примера могут показать экономистам, в чем состоит смысл средней цифры в распределении ценностей, которая служит основною идеею политической экономии. Эти примеры могут также показать им, что они сами обыкновенно не понимают смысла фактов, о которых так много кричат. Мы привели два факта: один прямо свидетельствует в пользу общинного поземельного владения, другой прямо говорит о необходимости сделать работника хозяином, антрепренером*. Оба эти вывода повергают в ужас и в негодование так называемых экономистов, а между тем, они прямо следуют из фактов, которыми сами экономисты без ума восхищаются, которыми они тычут в глаза читателей чуть не на каждой странице своих произведений. Если бы у нас было время и место, подобные сюрпризы можно было бы выводить решительно из каждого факта, приводимого в подтверждение теории *laissez faire, laissez passer*. Когда так называемые экономисты обыкновенно не умеют сообразить даже частных выводов из отдельных фактов, то нельзя уже удивляться тому, что они не умеют сообразить, какой общий принцип выходит из всей совокупности их любимых фактов и отдельных наблюдений. Этот общий вывод мы уже выразили. Повторяем его: наивыгоднейшее для общественного благосостояния распределение ценностей состоит в том, чтобы пропорция ценностей, принадлежащих каждому члену общества, как можно ближе соответствовала средней цифре, даваемой отношением между суммой ценностей, находящихся в данном обществе, и числом членов, его составляющих.

Мы вообще не имеем никакой претензии представлять читателю что-нибудь новое, делать ученые открытия или высказывать истины, постижение которых требует какой-нибудь учености. Так и о выводе, который мы сейчас представили, мы должны сказать,

* Предпринимателем, то есть распорядителем предприятия. — Ред.

что давным-давно было множество писателей, превосходно объяснявших эту мысль. Даже из людей, которых хвалят экономисты (хвалят, впрочем, больше по непониманию, чем с умыслом), можно указать довольно многих, представлявших такой вывод. Мы назовем одного Бентама¹⁴. Думаем, что не трудно найти такую же мысль и у Рикардо; быть может, отыщется она даже у Мальтуса; об Адаме Смите нечего и говорить: известно, что хорошие экономисты считают его страшным еретиком и превозносят только из приличия. Но у всех этих знаменитостей политической экономии взгляд, нами изложенный, подавлен исследованиями о частных явлениях, анализ которых составлял главную их задачу. Только у Бентама средняя цифра прямо и решительно выставлена, как формула наивыгоднейшего распределения ценностей. Мы упомянули о великих людях политической экономии. Нам приходит в голову, что все они уже давно умерли; нам приходит в голову спросить, какие открытия сделаны в науке после них людьми, которые называют себя верными их учениками? Адам Смит, например, был основателем новой науки: показал отношение труда к ценности, участие капитала в производстве, норму вознаграждения за труд, важность разделения труда, и мало ли каких новых открытий ни сделал он! На нескольких страницах не перечесть и десятой части их. Мальтус разобрал вопрос о народонаселении. Рикардо объяснил вопрос о ренте. Оба эти открытия послужили основными камнями для экономической теории. Кто не знает трудов Мальтуса и Рикардо, не может говорить ни о чем правильным образом. Но интересно было бы нам знать, какую новую мысль можно найти у кого бы то ни было из экономистов, славившихся после Мальтуса и Рикардо или процветающих ныне? Какое открытие в науке сделал Мишель Шевалье, или Бастиа, или Воловский, или Рошер, или Рау, или хотя бы даже сам Жан-Батист Сэ? Некоторые из них были люди умные, например Сэ (впрочем, мы едва ли не сделали ошибку, употребив множественное число. Кажется, что грех было бы сказать о ком-нибудь из названных нами, кроме одного Сэ, что он человек с замечательной головой); некоторые из них люди очень ученые, например Рошер и Рау; некоторые замечательны способностью болтать легко и изящно, например Бастиа и Мишель Шевалье¹⁵; а Воловский считается диковинкою между членами парижского общества экономистов, потому что знает по-немецки. Но любопытно было бы узнать, что они сделали для развития науки? Жан-Батист Сэ ввел политическую экономию во Франции и прекрасно популяризировал мысли, открытые англичанами, — заслуга великая, но заслуга перед французской публикой, а не перед наукой. Мишель Шевалье хорошо описал Северо-Американские Штаты и отлично доказал, что когда по открытии калифорнских и австралийских россыпей стали добывать золота вдвасятеро больше против прежнего, а количество добываемого серебра не

увеличилось, то золото должно понизиться в цене сравнительно с серебром, — вещи хорошие, что и говорить, — но для науки нового в них разве немногим больше, чем в книге г. Горлова. Бастиа писал памфлеты против протекционистов и коммунистов, и памфлеты очень бойкие, но в них он только рабски развивал отдельные фразы из своих учителей. Он также, прослышав о возражениях американца Кери против теории ренты Рикардо, сам сочинил против нее возражения, как две капли воды сходные с мыслями Кери, которые лишены всякой основательности; это тоже похвально, но повторить понаслышке чужие и притом неосновательные мысли, не значит еще двинуть вперед науку. Что еще он сделал? — Да, вот что: несмотря на свою историю с Кери, он был человек честный — это похвально. Мы едва не забыли о главном. Он написал «*Harmonies économiques*» * — в них он доказывал, что все на земле устроено премудро и промысл направляет все к лучшему, и, на чем свет стоит, бранил Жан-Жака Руссо. Относится ли это к политической экономии, мы не умеем решить; но если относится, то должно быть очень полезно для нее. Воловский перевел Рошера, — труд похвальный, и объяснил, что крестьян в России надобно освободить без земли, — мысль тоже хорошая, но не новая после статей г. Бланка¹⁶ и разных сотрудников «Журнала землевладельцев». Рау в коротеньких параграфах крупным шрифтом повторил то, что нашел у своих предшественников, и сделал к этим параграфам длинные примечания, напечатанные мелким шрифтом, в которых набрал миллионы мелких фактов, иногда очень любопытных; таким образом, вышла книга неоцененная для приискивания справок и цитат. Рошер сделал то же самое с трудолюбием, быть может, еще колоссальнейшим и вдобавок постарался расположить набранные им факты в хронологическом порядке. Оба они, как видим, компиляторы очень почтенные, не щадившие ни глаз, ни поясницы для служения науке. Но где же во всех этих книгах, начиная от Сэ и кончая Рошером, хотя что-нибудь похожее на разрешение чего-нибудь, оставшегося нерешенным после Мальтуса и Рикардо? Ничего такого и не ищите: если вы не читали ни одной из книг всех этих знаменитых писателей, и в том числе вовсе не знаменитого писателя Воловского, вы остались, быть может, не знающими некоторых фактов, полезных для соображения, но наверно не лишили себя ни одной важной мысли, когда прочтены вами Адам Смит, Мальтус, Бентам и Рикардо.

Теперь мы подумали: какое доверие можно иметь к удовлетворительности теории, ни на шаг не подвинувшейся вперед в течение целых сорока или сорока пяти лет? Если бы экономисты подумали об этом и, вдобавок, если бы они знали хотя основные понятия из истории развития наук, они сообразили бы, что, даже

* «Экономические гармонии». — Ред.

не вникая в их доктрину, по этому одному признаку можно решить, что она для нашего времени несостоятельна. Постоянно имея в виду быть назидательными для экономистов, мы просим у читателя позволения кратко изложить здесь вещи, конечно, давным-давно ему известные, но, к великому состраданию и смеху нашему, неизвестные так называемым экономистам.

Начнем с того, что даже предмет, в котором не происходит никаких изменений, неистощим для науки, и каждый даровитый наблюдатель открывает в нем новые стороны, не замеченные или не понятые прежними исследователями. Лучшим примером тому может служить история и археология классического мира. Источники для их изучения остаются одни и те же вот уже четыреста лет. Со времен Петрарки не открыто слишком важных греческих или римских писателей. Гомер, Геродот, Фукидид, Ксенофонт, Полибий, Плутарх, Тит Ливий, Цицерон, Тацит, Плиний — все эти книги с возрождения наук были в руках ученых почти в таком же виде, в каком имеем их мы. Некоторые новые книги и отрывки отысканы, — это правда; но все они не доставляют и тысячной доли нового материала для изучения классической древности по сравнению с тем запасом сведений, какой представлялся латинистам и гелленистам XV века¹⁷. Что же мы видим? Каждое новое поколение делает новые открытия в понимании жизни древнего мира. Взгляд на греческую и римскую историю разъясняется, расширяется с каждым новым десятилетием. Древняя жизнь каждому новому исследователю открывает новые стороны. Каждая новая книга, доставляющая своему автору известность между латинистами и гелленистами, богата новыми мыслями.

Разумеется, еще поразительнее перемены, которым быстро подвергаются науки, занимающиеся предметами, для изучения которых являются новые материалы. Вспомним об истории древнего востока. Что общего в содержании и взгляде на предмет между книгами, писанными, например, о персидском царстве тридцать лет тому назад, и теперь, когда изучили зендский язык, стали читать клинообразные надписи и ближе познакомились с нынешним востоком? Но еще радикальнее перевороты в воззрениях на предмет, когда не только открываются новые материалы для его изучения, но и сам он продолжает жить и изменяться. Возьмем в пример историю какого угодно из нынешних народов и какое угодно событие в этой истории, например французскую революцию. В эпоху Наполеона I понимали некоторые стороны этого события; когда возвратились Бурбоны, она представилась в новом виде; в июльскую монархию поняли ее гораздо полнее, чем при Бурбонах и при Наполеоне I; теперь опять видят, что взгляд времен Орлеанской династии был далеко не удовлетворителен, и понимают предмет многостороннее и глубже.

Каждому известно, отчего это происходит и почему не может быть иначе. Жизнь и науки развиваются с каждым поколением.

Когда изменились понятия общества от развития жизни и всей совокупности наук, от этого самого должен уже измениться взгляд на предмет каждой частной науки, хотя бы этот предмет был неподвижен и новых материалов к его изучению не было. Когда прибавились новые материалы, перемена будет еще значительнее. Но что сказать, когда и самый предмет растет, когда он сам с каждым годом все полнее объясняет себя развитием новых явлений и сторон своей натуры?

Именно таково дело политической экономии. Мы видим, что каждое новое издание книги Бэка¹⁸ «О государственном хозяйстве древних афинян» было значительным шагом вперед по сравнению с предыдущим изданием, хотя предмет был мертв и новых источников к его изучению представлялось мало по сравнению с запасом прежних материалов. А предмет политической экономии — не древние Афины, а живое общество, и в нем быстрее всего остального развивается именно та сфера, которая составляет специальный предмет политической экономии. Что общего между экономическим бытом Англии или Франции во время Адама Смита, или хотя бы во время Рикардо, и нынешним положением дел? Артур Юнг, путешествовавший по Франции всего 70 лет тому назад¹⁹, изображает нам быт, о котором сами экономисты говорят, что он составляет такую же допотопную картину, как экономическая жизнь какого-нибудь древнего Египта или гомеровского Аргоса. Когда мы читаем первые романы Жоржа Занда, писанные 25 лет тому назад, или «Пиквикский клуб» Диккенса, писанный после «Индианы», мы видим, что вся обстановка жизни, все экономические отношения сословий изменились в эти немногие годы. Да что говорить об Англии или Франции? Посмотрите хоть на себя, идущих очень тихо за другими народами. И у нас, воротившись через 20 лет в знакомую вам губернию, вы не узнаете ее: купцы не те, и торгуют не так, и не тем торгуют, и не на тех условиях покупают, как прежде. И помещики живут не так, не такие имеют доходы, не на такие вещи тратят их, как прежде. И чиновники переменялись, и мужики переменялись, и все не так, и все не то, что прежде.

А какое сравнение между материалами, бывшими в руках у Адама Смита и у Мальтуса, и нынешними материалами? Адам Смит не знал даже числа жителей в своем королевстве; Мальтус, когда писал свой трактат о народонаселении²⁰, единственным достоверным документом о числе рождений и смертей и о прибылях населения имел шведские таблицы. Через 15 лет по издании книги Адама Смита не было еще известно количество земли, возделываемой в Англии или во Франции. Словом сказать, великие люди, которым политическая экономия обязана своим нынешним развитием, не имели в руках и миллионной части тех статистических сведений, которыми владеем теперь мы. Надобно прибавить, что они не имели описаний народного быта и экономических учре-

ждений даже в своих странах. Тем больше славы для них, что они сумели найти так много истин при столь скудных средствах; но что сказать о положении теории, которая до сих пор не умела воспользоваться безмерно возросшим богатством сведений? Нечего говорить о том, каковы были знания об экономической жизни отдаленных стран, доступные великим деятелям политической экономии, если свои собственные земли они с экономической и статистической стороны едва ли не хуже знали, чем теперь мы знаем тибетские и туркестанские учреждения. Даже о Германии и об Испании они имели самое смутное понятие. России они вовсе не знали. Не далее как 30 лет тому назад никто в целой Англии не мог понять характера поземельной собственности в Ост-Индии.

Что ж теперь сказать, если кто-нибудь воображает, что теория, которая могла существовать во время Мальтуса и Рикардо, сколько-нибудь соответствует нынешнему развитию экономической жизни, нынешнему запасу статистических и этнографических сведений? Вы приходите к господину, который сидит и очень усердно пишет. Что это вы пишете? спрашиваете вы его. «Я пишу историю Петра Великого». — Какие же у вас материалы и как вы смотрите на ваш предмет? — «Я нахожу, что у Голикова несколько устарел слог, но взгляд совершенно правилен, и, собственно, я только переделываю Голикова по вкусу нынешней публики»²¹. Что вы скажете такому господину? или, лучше сказать, можно ли говорить с таким господином? Это какой-то урод, какое-то неправдоподобное допотопное чудовище. Но из того, что он невежда или идиот, что его книги будут заслуживать только презрение или насмешки, вовсе еще не следует, чтобы Голиков не был человеком, заслуживающим величайшей похвалы. Он сделал все, что мог сделать в свое время; но для нашего времени нужны совершенно иные вещи.

40 лет неподвижности в теории такого предмета, как политическая экономия! Это нечто неудобомыслимое, неправдоподобное, невероятное. Какое единственное объяснение может быть такому нелепому явлению? какое предположение неизбежно вызывается в уме таким странным фактом? Не в одной политической экономии, а во всех науках есть школы, остающиеся при окаменелых теориях. До сих пор пишут исторические книги в духе «Рассуждения о всеобщей истории» Боссюэта; до сих пор есть историки, например, французской литературы, полагающие, что Корнель с Расином выше Шекспира, или историки русской литературы, восхищающиеся Княжнинным и Озеровым²². Мы очень хорошо знаем, что думать о таких школах, и знаем, как объяснять отсутствие замечательных деятелей по таким теориям. Что отжило свой век, к тому не обратятся живые силы, то будет предметом любви и насыщения для людей тупых или своекорыстных; около трупа собираются только коршуны и кишат в нем только черви. Люди с свежими силами необходимо должны делать что-нибудь новое

и свежее. Новиков, издавший словарь русской литературы, был человек великого ума и благородства²³; но когда занялся историей русской литературы такой же человек следующего поколения, Н. А. Полевой, он не стал повторять мнений Новикова, и хотя продолжал его дело, но во многом прямо противоречил ему и почти во всем расходился с ним. Когда после Полевого занялся тем же делом новый человек, Белинский, он опять заговорил совершенно новое, — и что значит теперь оставаться при мнениях, которые были хороши 35 лет тому назад, при основании «Телеграфа»*, мы, к несчастью, видим на брате Н. А. Полевого, г. Ксенофонте Полевом²⁴. А ведь и г. Ксенофонт Полевой был в свое время человеком полезным, писал благородно и вовсе не глупо. Не дай только бог никому пережить себя, служить посмешищем для новых поколений и самому пятнать свое имя и свою школу.

Мы очень хорошо знаем, что думать, например, о нынешнем значении теории и деятельности г. Ксенофонта Полевого; знаем, как понимать его слова, что он и его литературные сподвижники исключительно защищают чистоту вкуса, здравый смысл и благородство в литературе, и что все люди, которых они порицают, должны считаться злодеями; мы очень хорошо знаем, как объяснить то явление, что вот уже 30 лет школа, к которой принадлежит г. Ксенофонт Полевой, не производила ни одного замечательного человека. Мы говорим: истинной критики и здравого взгляда на литературные явления надобно искать в других школах. Школа г. Ксенофонта Полевого потеряла способность производить что-нибудь замечательное, потому что отстала от времени.

То же самое по необходимости предполагаешь и о школе так называемых экономистов, когда видишь, что она утратила способность иметь в своих рядах людей великого ума, утратила способность открывать что-нибудь новое и развивать науку. При виде такого явления необходимо предполагаешь, что вне ее круга, вероятно, возникло какое-нибудь новое направление науки, привлекающее к себе все свежие силы. Действительно, мы видим, что все умы, способные открывать в предмете новые стороны, все гениальные писатели, занимавшиеся экономическими вопросами после Мальтуса и Рикардо, принадлежат к противникам так называемых экономистов. Мнения этих гениальных людей во многом расходятся одно с другим, потому что никогда не может в двух самостоятельных головах развиться совершенно одинаковый взгляд: самостоятельные и даровитые люди именно тем отличаются от бездарных и тупых, что у каждого из них есть оригинальность, особенность в образе мыслей. Мы не имеем охоты говорить, чьих именно мнений мы держимся, и скажем только,

* «Московский телеграф». — *Ред.*

что, читая книги замечательных противников господствующей школы, вы бываете поражены безмерным превосходством каждого из этих людей над нынешними так называемыми экономистами по отношению к силе ума. Укажем в пример хотя на Сисмонди, чтобы не говорить о других, более гениальных²⁵. Сисмонди занимался не одною политическою экономиею. Он, между прочим, написал многотомную историю Франции. В этой книге вы находите его человеком бесспорно очень умным и ученым; но, сравнивая с другими современными ему историками, с Гизо, Огюстеном Тьерри, Нибуром, вы не видите в нем гениальности: перед этими действительно великими историками он кажется человеком второстепенным. Зато какая разница, если вы сравниваете его «Новые принципы политической экономии» с сочинениями учеников Смита, Мальтуса и Рикардо, — он кажется гигантом по отношению к ним. Его книга во многом очевидно ошибочна; но сколько в ней новых, свежих мыслей, какая сила ума, какое богатство новых фактов, ведущих к новым взглядам, какая в ней оригинальность и свежесть по сравнению с монотонными произведениями так называемых экономистов, с этими бесцветными повторениями произведений Адама Смита, Мальтуса и Рикардо! Что же надобно думать об умственной силе писателей, перед которыми кажется гением человек, далеко не имевший силы быть первостепенным мыслителем в такой науке, которая имела деятелей действительно великого ума? Невольно рождается мысль, что жалка и мертва та школа, деятели которой ничтожны по уму в сравнении даже с человеком второстепенного таланта. Мы называли Сисмонди потому, что хвалить его очень удобно; но читатель знает, что между противниками так называемых экономистов он — человек далеко не самый замечательный. Каждый вспомнит многие имена гораздо более знаменитые. Мы упомянем из них одно: в «Современнике» недавно была помещена статья о Роберте Овене. Вот, например, мыслитель действительно великий. Читатель знает, что у него были сподвижники и остаются продолжатели, достойные стоять с ним рядом и по гениальности, и по благородству стремлений²⁶.

Мы спрашиваем теперь: когда нам представляются в исследовании известного предмета два направления, из которых одно служит только бесцветным повторением старины, не имеет между своими деятелями ни одного человека с замечательным умом, а к другому принадлежат без исключения все люди гениальные, то в котором направлении мы естественно должны предполагать ближайшее родство с потребностями времени, наибольшую теоретическую справедливость и практическую благотворность? Повторяем наше сравнение: если главою одной школы вы видите г. Ксенофонта Полевого, а в другой школе таких людей, как Белинский, — которую из двух школ вы естественно должны предполагать истинною представительницею науки?

Мы не имеем охоты излагать мнения тех людей, которых считаем истинными представителями экономической науки в наше время. Мы говорили, что хотим только показать отношение нашего взгляда на экономические явления к теории так называемых экономистов, которых теперь мы имеем право назвать отсталыми экономистами. Мы перечислили причины, по которым необходимо предполагать, что их теория неудовлетворительна для нынешнего времени. Теперь из обстоятельств самого дела мы постараемся вывести заключение о том, какого характера надобно ожидать от теории, соответствующей нынешнему положению общества в цивилизованных странах.

Известно, что сущность исторического развития в новом мире служит как бы повторением того самого процесса, который шел в Афинах и в Риме; только повторяется он гораздо в обширнейших размерах и имеет более глубокое содержание. Разные классы, на которые распадается население государства, один за другим входят в управление делами до тех пор, пока, наконец, водворится одинаковость прав и общественных выгод для всего населения. В Афинах мы замечаем почти исключительное преобладание чисто-политического элемента: эвпатриды и демос спорят почти только из-за допущения или недопущения демоса к политическим правам. В Риме является уже гораздо сильнейшая примесь экономических вопросов: спор о сохранении общественной земли, об ограждении пользования ею для всех имеющих на нее право идет рядом с борьбою за участие в политических правах и наполняет собою всю римскую историю до самого конца республики. Лициний Столон и Гракхи имели продолжателей в Марии и Цезаре. В новом мире экономическая сторона равноправности достигает, наконец, полного своего значения, и в последнее время политические формы главную свою важность имеют уже не самостоятельным образом, а только по своему отношению к экономической стороне дела, как средство помочь экономическим реформам или задержать их.

В новом мире процесс развития не только обширнее и глубже, но и многосложнее, чем в классической древности. В Афинах мы видим только эвпатридов и демос, в Риме только патрициев и плебеев; в новом обществе мы находим не два, а три сословия*. Каждое из них имеет свою политическую и свою экономическую систему. О политических формах мы не будем говорить, а займемся только характером экономических учреждений. Высшее сословие, с экономической стороны, представляется сословием поземельных собственников. При его владычестве господствует теория приобретения богатств посредством насилия. В отношении к чужим народам эта цель достигается войною, в своей собственной стране — посредством права владельца на собственность людей,

* Употребляется здесь в смысле «класса». — Ред.

населяющих его землю, словом сказать — посредством того, что в Западной Европе называлось феодальными учреждениями. Характер этого быта не допускал высокого экономического развития, потому и экономическая наука была мало развита; но все-таки те времена имели свою экономическую теорию. Она выражалась в том, что человеку свободному (свободным человеком, по-настоящему, был тогда только феодал) не следует заниматься производством. Он должен быть только потребителем. Масса его соотечественников и все остальные народы существуют только для того, чтобы производить для него, а не для себя, предметы потребления. Обширного научного развития достигла только одна часть этой системы, называющаяся меркантильной теорией. Сущность ее состоит в том, чтобы брать у других, не давая им ничего взамен. В те времена, при слабом развитии кредита, звонкая монета, конечно, должна была иметь всю ту важность, какая ныне принадлежит биржам, банкирам и вексельным оборотам. Натурально было, что накоплением драгоценных металлов дорожили тогда точно так же, как ныне дорожат упрочением и повышением кредита. Меркантильная система, вытекавшая из понятия «надобно брать, не давая ничего в обмен», натурально, должна была применять эту идею к драгоценным металлам, и потому говорила, что надобно всячески стараться, чтобы ввоз серебра и золота был как можно больше, а вывоз как можно меньше.

Феодальные учреждения были низвергнуты, когда среднее сословие достигло участия в государственных правах и по своей многочисленности, конечно, стало преобладать над высшим, лишь только было допущено к разделению власти. В Англии среднее сословие достигло такого положения в половине XVII века, и только в это время были низвергнуты значительнейшие из феодальных учреждений*. Благодаря особенному стечению обстоятельств, вынуждавшему английскую аристократию к уступчивости, среднее сословие до последнего времени само обращалось с нею снисходительнее, чем во Франции, потому она сохранила огромную политическую силу. Соответственно сохранению очень сильного влияния высшего сословия на политические дела, в Англии сохранились и феодальные учреждения в значительной степени. Земля осталась в руках аристократии; аристократы, как лендлорды, сохранили господство над общественными делами сельского населения и огромное участие в составе палаты общин, которая стала верховною властью. По уступчивости аристократии долго сохранялось фактическое преобладание ее в государстве, и только после целого века непрерывных маленьких приобретений все большего и большего участия в делах, среднее сословие действительно стало господствовать над ними, хотя юридически

* Важнейшие из феодальных повинностей были отменены при Кромвеле, и главным условием при возвращении Стюартов было то, чтобы они признали законность этой экономической реформы.

Могло господствовать с половины XVII века. К тому времени, когда среднее сословие приобрело фактический перевес над высшим в государственных делах, то есть к последней половине прошлого столетия, относится и возникновение новой экономической теории, до сих пор пользующейся привилегиею на имя политической экономии, как будто она единственная теория экономических учреждений. Дух ее совершенно соответствует положению среднего сословия в обществе и роду его занятий. Среднее сословие составляют хозяева промышленных заведений и торговли; потому важнейшими из экономических явлений школа Адама Смита признает расширение размера фабрик, заводов и вообще промышленных заведений, имеющих одного хозяина с толпою наемных работников, и развитие обмена.

Для отсталых экономистов, которые сами не понимают духа своей теории, может показаться странным, что мы заботою их теории ставим не развитие производства вообще, а именно развитие той формы его, успехи которой измеряются расширением оборотов каждого отдельного хозяина. Читатель, привыкший наблюдать точные черты явлений, не ограничиваясь отвлеченностями, не составляющими их специальности, легко поймет, почему мы выразились именно таким образом. Возьмем в пример хлопчатобумажную промышленность, которая справедливо составляет любимый предмет панегириков отсталой школы. Кто не знает, что возрастание хлопчатобумажной промышленности состояло не в увеличении числа хлопчатобумажных фабрик, а в расширении объема каждой из них? Здесь было бы слишком длинно объяснить, почему такое явление принадлежит всем отраслям промышленности, развивающимся при господстве среднего сословия. Притом каждому читателю известно, что чем значительнее капитал известного лица, тем меньшими процентами может оно довольствоваться; что чем обширнее размер промышленного заведения, тем дешевле и лучше производство благодаря полнейшему разделению труда и действию более сильных и совершенных машин. Итак, мы сказали, что расширение размера промышленных заведений и развитие обмена составляет главную заботу господствующей политико-экономической теории. Эта забота совершенно соответствует положению людей, господствующих над общественною жизнью в цивилизованных странах. Люди эти, как мы уже сказали, — хозяева промышленных заведений и купцы. Разумеется, дела каждого купца развиваются пропорционально общему развитию торговли, а богатства промышленника возрастают пропорционально обширности его заведения. Для достижения той и другой цели могущественнейшим пособием служат биржевые обороты, банки и банкирские дома, потому их интересы также чрезвычайно дороги для господствующей теории. Соответственно этим главным предметам внимания, господствующая экономическая теория в своем чистом виде почти исключительно занимается

вопросами: о разделении труда, как пути, которым расширяются промышленные заведения, о свободной торговле, о банковых оборотах, об отношении звонкой монеты к бумажным ценностям разного рода. Успешность занятий банкира, купца и хозяина промышленного заведения зависит не от собственных его потребностей, а просто от обширности круга людей, требующих его посредничества или покупающих его произведения. Потому главная забота каждого из них состоит в том, чтобы расширить свой рынок.

Из этого возникают два противоположные направления: с одной стороны, потребность мирных отношений со всеми посторонними его ремеслу людьми, нерасположение к войне, затрудняющей доступ на иностранные рынки, ведущей к коммерческим кризисам, с другой стороны, стремление отбить покупателей у других промышленников, занимающихся тем же делом, как он, то есть в сущности замещение физической иноземной войны коммерческою междоусобною войною внутри каждого промысла: в банкирских оборотах — между домами, встречающимися на одной бирже; в торговле — между купцами одного торгового округа и одного рода торговли; в промышленности — между фабрикантами или заводчиками одного рода занятий. Сообразно этому, господствующая экономическая теория провозглашает владычество конкуренции, то есть заботы каждого производителя о том, чтобы подорвать других производителей; но с тем вместе она доказывает, что благосостояние каждого народа возвышается от благосостояния других народов, потому что чем богаче они, тем больше покупают у него товаров. Подобным образом она доказывает, что чем успешнее идут промыслы в народе вообще, тем выгоднее для каждого отдельного промысла, для продуктов которого внутренний рынок становится тем обширнее, чем больше благосостояния в обществе. Но, проповедуя такую заботливость об иностранцах и посторонних людях как потребителях, господствующая политико-экономическая теория не видит возможности отратить разорительную междоусобицу производителей, занимающихся одним делом. Соперничество, как орудие этой междоусобной войны, принимает между прочим форму спекуляции, которая постоянно стремится к безрассудному риску и к коммерческому обману; это стремление промышленности и торговой деятельности периодически производит кризисы, в которых погибает значительная часть произведенных ценностей и во время которых подвергается страшным страданиям масса, живущая заработною платою. Но такой характер производства и торговли неизбежен при нынешнем экономическом устройстве, когда производство находится под властью хозяев и купцов, благосостояние которых зависит не от потребления, а просто только от сбыта товаров из своих рук; при таком порядке дел производство рассчитывается не по истинной своей цели, а только по одному из посредствующих фазисов. Политическая экономия, замечая неизбежную связь

спекуляций и коммерческих кризисов с нынешним порядком дел, выставляет их вещами неизбежными и неотвратимыми.

Из трех элементов, участвующих в производстве ценностей, недвижимая собственность и в особенности земля принадлежит высшему классу, не участвующему прямым образом в производстве; оборотный капитал вносится в производство средним классом, так называемыми антрепренёрами, мануфактуристами, заводчиками и фермерами; труд почти весь совершается простым народом, который в политическом отношении до сих пор служил только орудием для среднего и высшего сословий в их взаимной борьбе, не сохраняя постоянного независимого положения в политической истории. Среднее сословие, естественно, придает наибольшее значение тому элементу производства, которым владеет само. Сообразно этому, господствующая теория выставляет интереснейшим элементом производства оборотный капитал, доказывая, что без него невозможно успешное приложение труда к материи, то есть земля останется непроизводительной, а работники не найдут себе занятия. Но с высшим сословием средний класс, несмотря на взаимную борьбу, находится в отношениях более приятных, нежели с простым народом. Во-первых, если средний класс еще не совершенно уничтожил всякую самобытность в высшем сословии и не совершенно поглотил его в себе, если все еще должен вести с ним борьбу, то уже очень хорошо чувствует, что имеет решительный перевес в ней; с каждым годом во всех странах средний класс торжествует экономические победы и часто наносит политические поражения своему сопернику. Выигрывающий и побеждающий, естественно, расположен быть снисходительным к изнемогающему противнику, близкую смерть которого предвидит. Кроме того, банкиры, купцы и мануфактуристы имеют с высшим сословием много личных связей; они равны ему по богатству, ведут одинаковый образ жизни, встречаются в одних и тех же салонах, сидят рядом в театрах; почти все лица одного сословия имеют родственников и приятелей в другом; и, наконец, это слияние дошло уже до того, что множество лиц, принадлежащих по происхождению к высшему сословию, занялись промышленной деятельностью, а множество лиц среднего сословия обратили часть своих движимых капиталов в недвижимую собственность. Все эти обстоятельства чрезвычайно смягчают враждебность среднего сословия против высшего; но еще сильнее действует в том же смысле существенная одинаковость их положения в деле распределения ценностей при нынешнем порядке. Мы видели противоположность их отношений к производству: собственник-феодал пользуется рентой и получает, ничего не давая в обмен; купец и хозяин промышленного заведения приобретают богатство посредством обмена: они покупают один предмет и продают другой, берут сырой материал и возвращают обработанный продукт, меняют товары на деньги, меняют кредит

на деньги и на товары, дают простолюдину деньги, покупая его труд. В этом отношении между антрепренёром и собственником большая разница. Но сходство между ними то, что часть ценностей, поступающая к собственнику без обмена или остающаяся в руках антрепренёра после обмена, далеко превышает своим размером то количество ценностей, какое производится в этом обществе трудом одного семейства или, точнее говоря в экономическом смысле, трудом одного работника. Фабрикант, получающий, например, в Англии тысячу фунтов ежегодного дохода, принадлежит к самым мелким фабрикантам; а между тем для производства прибыли в тысячу фунтов нужен труд десяти и двадцати работников. Таким образом, по распределению ценностей общество распадается на два разряда: экономическое положение одного из них основывается на том, что в руках каждого из его членов остается количество ценностей, производимое трудом многих лиц второго разряда; экономическое положение людей второго разряда состоит в том, что часть ценностей, производимых трудом каждого из его членов, переходит в руки лиц первого разряда. Очевидно, каково должно быть отношение интересов между этими разрядами: один должен желать увеличения, а другой — уменьшения и приведения к нулю той части ценностей, которая переходит от лиц второго разряда к лицам первого. Эта общность интересов высшего и среднего сословия по отношению к массе служит самым твердым залогом снисходительности промышленников к собственникам. Сообразно этой мирной основе, лежащей под оболочкою враждебности, господствующая теория признает экономическое достоинство собственности, как наследственного факта, который дает право на часть производимых ценностей без всякого деятельного участия в производстве их со стороны собственника. Тот факт, что известное лицо получило известную недвижимую собственность, уже вменяется этому лицу в заслугу, за которую оно должно получать постоянное вознаграждение, называемое рентой. Уступая такую привилегию недвижимой собственности, принадлежащей главным образом высшему сословию, средний класс, натурально, должен был выставлять делом совершенно необходимым подобную же выгоду от простого, бездейственного обладания движимую собственностью (деньгами и кредитными бумагами), принадлежащую главным образом ему самому. Сообразно этому, господствующая теория принимает неизбежность процентов и доказывает, что человек должен считаться очень полезным членом экономического общества, когда, получив движимый или недвижимый капитал, проводит свою жизнь как потребитель, не принимая деятельного участия в производстве, и видит свой капитал не уменьшающимся; она говорит, что рента и проценты имеют свойство содержать собственника или капиталиста без убытка для общества, хотя бы он только потреблял, а сам не производил ничего. При таких понятиях об

участии собственности и оборотного капитала в производстве, конечно, не очень много места остается в теории на долю труда. Мы видели, что в политической жизни простой народ до сих пор служил только орудием для высшего и среднего сословий, не имея прочного самостоятельного значения; точно так и господствующая экономическая теория смотрит на труд, принадлежность простого народа, только как на орудие, которым пользуются для своего увеличения собственность и оборотный капитал. Мы видели, что высшее и среднее сословия имеют в распределении ценностей прямой интерес уменьшать долю труда, потому что их собственную долю составляет сумма продуктов, за вычетом части, отдаваемой труду; точно так и теория говорит, что продукты должны принадлежать владельцам собственности и оборотного капитала, а работникам может быть выдаваема на продовольствие лишь такая часть из производимых ими ценностей, какая будет найдена возможной по интересам собственности и оборотного капитала, под влиянием соперничества.

Последователи господствующей системы могут быть недовольны таким изложением характера своей теории; но читатель, знакомый с их сочинениями, видит, что все черты, нами исчисленные, действительно принадлежат этой теории. Определить сущность ее, по нашему мнению, очень легко: эта теория выражает взгляд и интересы капиталистов, ведущих промышленные и торговые дела и отчасти уже сделавшихся владельцами недвижимой собственности, а вообще проникнутых снисходительностью к побеждаемому врагу, феодальному сословию, которое оказывается их союзником в вопросе о распределении ценностей. Теория самих феодалов выражала интересы людей, совершенно чуждых производству и понятию обмена; потому мало найдется в ней пригодного для экономических потребностей общества, и мы совершенно согласны с отсталыми экономистами в том, что меркантильная система была ошибочна в своих основаниях. Этого нельзя сказать о теории отсталых экономистов. В ней есть элементы совершенно справедливые, и для того чтобы получить теорию, удовлетворяющую истинным условиям общественного благосостояния, нужно только со всею точностью развить основные идеи, из которых выходит господствующая система, но которые или не хочет она развивать, или подавляет примесью враждебных с ними понятий.

Мы видели, что господствующая теория соответствует потребностям среднего сословия, существенную принадлежность которого составляет оборотный капитал и которое источником своих богатств имеет участие в производстве. При таком основании теория капиталистов должна была начать анализом понятий производства и капитала. Результатом анализа был вывод, что всякая ценность создается трудом и что самый капитал есть произведение труда. Нужно не бог знает какое глубокое

знакомство с философскими приемами, чтобы видеть, к чему приводит развитие этих положений. Если всякая ценность и всякий капитал производятся трудом, то очевидно, что труд есть единственный виновник всякого производства, и всякие фразы об участии движимого или недвижимого капитала в производстве служат только изменениями мысли о труде, как единственном производителе. Если так, то труд должен быть единственным владельцем производимых ценностей. Вывода, нами представленного, конечно, не хотят принять отсталые экономисты, но он необходимо следует из основных понятий о ценности, капитале и труде, найденных Адамом Смитом. Нет ничего удивительного, если результат принципа не был замечен тем мыслителем, который высказал принцип: в истории наук самое обыкновенное явление то, что у одного человека недостает силы и открыть принцип, и последовательно развить его; по принципу разделения труда, принимаемому отсталыми экономистами, так и должно быть. Одни люди кладут фундамент, другие — строят стены, третьи — кладут крышу и уже четвертые отделывают дом так, чтобы он был пригоден для жилья. Адаму Смиту тем легче было не предвидеть логических последствий найденного им принципа, что в те времена у сословия, которому принадлежит труд, же было, ни в Англии, ни во Франции, никаких стремлений к самостоятельному историческому действию и оно было в тесном союзе с средним сословием, с владельцами оборотного капитала, пользовавшимися помощью простолюдинов для своей борьбы с высшим сословием. Это были времена, когда Вольтер и Даламбер покровительствовали Жан-Жаку Руссо; когда откупщик Эльвесуус был амфитрионом всех прогрессистов²⁷. Адам Смит был в сущности учеником французских энциклопедистов; и как они воображали, что народу не нужно ничего иного, кроме тех вещей, которые были нужны для буржуазии, и как народ сам не замечал еще тогда, что его потребности не во всем сходны с интересами среднего сословия, шедшего тогда во главе его на общую борьбу против феодалов. так и Адам Смит не заметил разницы между содержанием своей теории, соответствовавшей экономическому положению среднего сословия, с основным своим учением о труде как источнике всякой ценности. То были времена, когда требования среднего сословия выводились из демократических принципов и оживлялись мыслями, говорившими о человеке вообще, а не о торговце, фабриканте или банкире.

Читателю известно не хуже нас, что с той поры положение дел изменилось. Возьмем в пример историю Франции. В 1789 году ученики Монтескье подавали руку ученикам Руссо и аплодировали парижским простолюдином, штурмовавшим Бастилию. Через несколько лет они уже составляли заговоры для восстановления Бурбонов. Во время реставрации они опять соединились на некоторое время с народом для низвержения воскресавшего

феодализма, но с 1830 года разрыв стал окончательным и безвозвратным²⁸. В 1848 году среднее сословие постоянно действовало заодно с аристократией. В Англии разрыв не до такой степени заметен для поверхностного наблюдателя, потому что победа среднего сословия над феодалами еще не так полна, и оно принуждено было прибегать к помощи простого народа при проведении парламентской реформы в 1832 году и при уничтожении хлебных законов в 1846-м. Но и в Англии мы видим, что работники составляют между собой громадные союзы²⁹ для самостоятельного действия в политических и особенно экономических вопросах. Партия чартистов* иногда примыкает к парламентским либералам и крайние парламентские либералы бывают иногда ораторами протонародных требований если не в экономическом, то в политическом отношении. Но, несмотря на эти союзы, среднее сословие и работники издавна держат себя, уже и в Англии, как две разные партии, требования которых различны. Открытая ненависть между простолюдинами и средним сословием во Франции произвела в экономической теории коммунизм. Английские писатели утверждают, что после Овена коммунизм не находил значительных представителей в их литературе, и это отсутствие смертельной вражды между теоретиками соответствует отсутствию непримиримой ненависти между английскими работниками и средним сословием. Но если английские экономисты не находят в своей литературе современных мыслителей, подобных Прудону³⁰, то в практике промышленные союзы (Trade's Unions) работников представляют очень много соответствующего теориям, которые у французов называются коммунистическими. В Англии, где не любят давать громких имен вещам, эти союзы подвергаются упреку в коммунистических стремлениях только при особенных случаях, каковы, например, колоссальные отказы от работы для принуждения фабрикантов к повышению заработной платы. При взгляде на дело более спокойном, чем во Франции, могут в английской литературе сохранять, благодаря своему спокойному тону, название экономистов, верных системе Адама Смита и Рикардо, такие писатели, идеи которых, если бы выражены были на французском языке с полемической горячностью, подвергли бы своих авторов проклятию всех так называемых экономистов Франции. Замечательнейший из этих английских писателей, без особенного шума вводящих в науку новые взгляды, — Джон Стюарт Милль. Мы никак не думаем, чтобы его теория была вполне удовлетворительна. Он человек бесспорно очень замечательного ума и безмерно выше всех французских экономистов; но ум его силен только в логическом развитии подробностей. Он превосходно разъясняет частные истины, но создать новую систему, дойти до проверки основных принципов и пополнить

* Чартистов. — *Ред.*

их он не в состоянии. Он говорит, например, что все возражения экономистов против коммунизма не выдерживают критики; а между тем он только исправляет и дополняет в частных случаях ту теорию, односторонность которой доказана писателями, по его собственным словам, неопровержимыми в сущности своих мыслей. Почему же он не перестроил всю теорию с самых оснований? Очевидно, у него нет силы отделить сущность новых мыслей от их полемической и декламаторской формы, перевести французское ораторство на холодную теоретическую речь и согласить новые мысли со старыми. Во всяком случае политическая экономия у него далеко не похожа по своему духу на то, что называется политической экономией у остальных французских экономистов.

Мы говорили, что у французских экономистов, следовавших за Жаном Батистом Сэ, нельзя найти ни одной свежей мысли, что их сочинения содержат только бесцветное повторение мыслей, высказанных Адамом Смитом, Мальтусом и Рикардо. Но каким бы раболепным переписчиком старых книг ни был новый писатель, он никак не может остеречься от влияния некоторых мыслей, принадлежащих его собственному времени; потому у французских экономистов та теория, верность которой думают они соблюсти, представляется с искажениями двойного рода. Адам Смит и Рикардо, когда писали свои произведения, вовсе не думали о коммунистических теориях, которые во время Смита не существовали, а во время Рикардо казались невинною шуткою, не обращавшею на себя ничего серьезного внимания. Нынешний французский экономист, которому каждая блуза, встречаемая на улице, представляется символом коммунизма, грозящего разрушением французскому обществу, который был несколько раз в пух и прах побит Прудоном, осмелившимся его, выставившим его перед публикой за идиота и невежду, — французский экономист не может ни одной буквы написать, не думая о коммунизме. Как победить этого ненавистного врага? Он сам не одарен такими умственными силами, чтобы составить теорию, которая удовлетворяла бы его желанию опровергнуть коммунизм; он может только переписывать старую теорию. Но при этом он вычеркивает из нее все, что, по его мнению, может служить подтверждением коммунизму: он искажает и определения, и факты, чтобы предохранить своих читателей от коммунистической заразы; особенно отличался в этом Бастиа. Адам Смит или Рикардо ужаснулись бы, увидев себя в его переделках. Но с тем вместе французский экономист не в силах разобрать, что в его собственной голове засели разные клочки коммунистических теорий, и среди искаженного повторения мыслей, например Адама Смита, вы вдруг находите страницу, от которой так и веет коммунизмом, впрочем, также искаженным*.

* В пример укажем на определение ценности у Бастиа. Он страшно ругает против Прудона и, сам того не замечая, принимает определение, данное Прудоном, только уродует его так, что вместо внутренней ценности

Французские экономисты, вклеивающие в свои книги все больше и больше страниц из коммунистической теории, нимало не сообразных с общим направлением сочинений, показывают невозможность охранить прежнюю теорию от новых идей. Английские экономисты, и особенно Милль, прямо говорят о необходимости переделать ее, хотя и не имеют сил для исполнения такой задачи. Но из их переделок и вставок можно видеть, в каком направлении следует искать полной переделки. Мы попробуем представить краткий очерк теории, которая рождается из последовательного, логического развития идей Адама Смита о труде, как о единственном производителе всякой ценности. Читатель, конечно, не будет удивлен, если наши определения будут иногда отличаться от определений, обычных для отсталой экономической школы.

Надобно начать с разъяснения понятий о труде производительном и непроизводительном. Производительным трудом мы называем тот, результатом которого бывают продукты, нужные для благосостояния человека; непроизводительным — тот, результатом которого не увеличивается благосостояние. Очевидно, что тут многое зависит от того, чье благосостояние ставится мерилom производительности. Воровство — очень производительный промысел для ловкого вора; но благосостояние общества не увеличивается от воровства, потому для него это дело непроизводительно, с каким бы усердием, и ловкостью, и прибылью ни велось ворами. Политическая экономия, если имеет претензию на имя науки, конечно, должна рассматривать предмет с общей точки зрения, иметь в виду выгоды общества, нации, человечества, а не какой-нибудь частной корпорации. Потому производительным трудом называем только такой, продуктами которого возвышается благосостояние общества. Благосостояние может возвышаться только при расчетливости, а расчетливость находит убыточным всякое дело, которым отнято время и силы от другого, более выгодного дела. Например, если плотник, который может получать один рубль в сутки, займется мастерством, приносящим только восемьдесят копеек, он поступит нерасчетливо и займется работою, убыточною для него. Чтобы видеть, какого рода труд может считаться выгодным для общества, то есть производительным, надобно знать положение и потребности общества. Известно, что потребности человека разделяются на необходимые и прихотливые. Если, например, иметь за обедом мясо составляет потребность действительную, то иметь мясо, приправленное трюфелями, есть уже прихоть. Список первых существ-

(*valeur en usage*) выходит у него меновая ценность (*valeur en échange*); перепутав эти вещи, он начинает излагать теорию обмена услуг таким образом, что можно только удивляться, как он сам не заметил ее несообразности ни с его собственными намерениями, ни с самыми простыми понятиями о внутренней ценности и об издержках производства.

венных потребностей человека не очень длинен; в наших климатах для здоровья необходимо: довольно просторное и опрятное жилище, хорошее отопление, теплая одежда и пища, которая бы своим питательным достоинством равнялась пшенице и мясу. Итак, пока все члены общества не имеют удовлетворения этим первым потребностям, труд, обращаемый на производство предметов, служащих на удовлетворение потребностей более изысканных и менее важных для здоровья, употребляется нерасчетливо, убыточно, непроизводительно. Положим, например, что в известном обществе не все имеют крепкое и теплое платье; положим, что на производство такого платья для одного человека на целый год нужно десять рабочих дней или, оценивая каждый день в один рубль серебром, годовичная ценность удовлетворительного платья составляет 10 руб. сер. Положим, что это общество состоит из ста человек и употребляет на производство платья 1000 рабочих дней. Теперь, если один из членов этого общества будет носить такое платье, что станет расходовать на него 50 руб., это значит, что труд для удовлетворения его потребности одеваться занимает в обществе 50 рабочих дней. Это значит, что на производство одежды для остальных членов общества остается только 950 дней, между тем как нужно было бы 990 дней, чтобы одеть их удовлетворительным образом. Ясно, что первая потребность некоторых членов общества не будет удовлетворена надлежащим образом, что они будут нуждаться в платье. Из этого надобно заключить, что работники, употребившие 50 дней на изготовление платья, трудились непроизводительным для общества образом, хотя бы и получили за свой труд надлежащее вознаграждение. Их труд имел направление, невыгодное для общества, и из 50 рабочих дней, употребленных ими на этот труд, 40 дней составляют чистую потерю для общества.

Из этого надобно выводить такое правило: весь труд, употребленный на производство продуктов, стоимость которых выше другого сорта тех же продуктов, удовлетворительного для здоровья, надобно называть непроизводительным при настоящем положении общества, когда некоторые из членов его еще имеют недостаток в продуктах, необходимых для здорового образа жизни. Каждая индейка, покупаемая в Петербурге за 3 руб. сер., отнимает у общества пуд говядины, потому что ее производство взяло столько же времени, сколько бы нужно для произведения пуда говядины. Каждый аршин сукна, ценою в 10 руб. сер., отнимает у кого-нибудь теплую шубу, потому что на производство этого аршина сукна потрачено время, которое было бы достаточно для производства простой, но теплой шубы.

Господствующая экономическая теория очень близка к подобному воззрению, но никак не умеет достигнуть до того, чтобы ясно сознать его. Она запутывается в соображениях, которые имеют какой-то меркантильный характер. Деньги, обмен, плата за услугу,

удовлетворительность вознаграждения для работавших, — эти второстепенные понятия затемняют для нее коренную сущность дела, а сущность дела состоит просто вот в чем: нация, имеющая известное число людей, способных к работе, располагает известным числом рабочих дней. Каждый рабочий день, употребленный на удовлетворение прихоти или роскоши, пропал для производства продуктов, удовлетворяющих первым потребностям. Если нация употребляет половину своего рабочего времени на производство предметов роскоши, — а предметами роскоши надобно назвать все те, которые не идут на удовлетворение первых потребностей или хотя идут на удовлетворение их, но имеют стоимость, превышающую ценность производства другого сорта тех же предметов, удовлетворяющего условиям гигиены, — если нация употребляет половину своего рабочего времени на производство предметов роскоши, когда не удовлетворены надлежащим образом первые потребности всех ее членов, она расточает половину своего времени непроизводительным образом, она поступает подобно человеку, который стал бы голодать половину дней, чтобы иметь роскошный стол в другие дни, который тратил бы на перчатки половину своего дохода и мерзнул бы зимою без теплой одежды.

Если хотите, вся сущность новой теории заключается в таком взгляде на различные роды экономической деятельности. Все остальное служит в ней или развитием этого основного требования, вовсе не чуждого и прежней теории, или определением средств для того, чтобы приблизиться к его исполнению.

Само собою разумеется, что средств этих нужно искать в порядке распределения ценностей. Если я имею средства платить 40 рублей в зиму за абонемент кресла в опере, никто не запретит мне нанимать это кресло, и какое мне дело до того, что труд, употребленный на производство ценностей в 40 рублей, потребляемых мною на мое развлечение в течение нескольких вечеров, — какое мне дело до того, что этот труд, употребленный на вещи более необходимые, доставил бы приличную одежду или приличное жилище какому-нибудь людям, которые теперь терпят лишения? Моя совесть так же спокойна, как тогда, когда я кладу в чашку кусок сахара, произведенного трудом невольников: не я, так другой занял бы это кресло, купил бы этот сахар, и не смешон ли я буду, если я стану отказывать себе в невинном или даже благородном удовольствии для каких-то абстрактных понятий о труде и времени?

Действительно, теория трудящихся (так будем называть мы теорию, соответствующую потребностям нового времени, в противоположность отсталой, но господствующей теории, которую будем называть теорией капиталистов) главное свое внимание обращает на задачу о распределении ценностей. Принцип наилучшего распределения дан словами Адама Смита, что

всякая ценность есть исключительное произведение труда, и правилом здравого смысла, что произведение должно принадлежать тому, кто произвел его. Задача состоит только в том, чтобы открыть способы экономического устройства, при которых исполнялось бы это требование здравого смысла.

Тут мы встречаем дикое, но чрезвычайно распространенное понятие об отношениях естественности и искусственности в экономических учреждениях. Как, вы хотите преобразовывать экономическое устройство искусственным образом? говорят последователи теории капитала. Вы теоретически придумываете какие-нибудь планы и хотите строить по ним общество? — Это искусственность. Общество живет естественною жизнью и все должно совершаться в нем естественно. Публика, состоящая из людей, не имеющих ясного понятия ни об искусственности, ни об естественности, громким хором повторяет: да, они хотят нарушать естественные законы. О, какие они безумцы!

Обыкновенно называют естественным экономическим порядком такой, который входит в общество сам собою, незаметно, без помощи законодательной власти и держится точно так же. Определение прекрасное, — только жаль, что ни одно важное экономическое учреждение не подходит под него. Например, введение свободной торговли вместо протекционной системы, конечно, составляет, по мнению отсталых экономистов, возвращение к естественному порядку от искусственного. Каким же образом оно происходит? Правительство, убеждаемое теоретическими соображениями ученых людей, объявляет уничтоженным прежний высокий тариф и велит повиноваться распоряжениям нового низкого тарифа. Только правительственная власть заставляет мануфактуристов, враждебных новому тарифу, терпеть его; если бы они имели силу, они готовы были бы собрать войско, овладеть таможнями и поставить в них свою стражу, которая собирала бы высокие пошлины с одних товаров и запрещала ввоз других. Величайшее торжество естественности составляет, по мнению экономистов, отмена хлебных законов в Англии. Но ведь она также была произведена по предварительному плану, составленному Кобденом и его товарищами, была произведена парламентским актом, и много лет новый порядок вещей поддерживался только беспрестанными, упорными объявлениями законодательной власти, что она не потерпит никаких попыток к восстановлению прежнего порядка. Уничтожение навигационного акта³¹, возвратившее свободу морской торговле между Англией и другими странами, экономисты также назовут возвращением от искусственности к естественности; но и оно было произведено также, в исполнение теоретических соображений, решением законодательной власти, и английские судозозяева до сих пор так неистовствуют против свободы, данной иностранным флагам, что если бы не правительственная защита новому учреждению, оно было бы уничтожено

завтра же. Таким образом, признаком естественности вовсе не должно считаться то, что для ее водворения не нужны ученые теории или законодательные распоряжения. Никакая важная новость не может утвердиться в обществе без предварительной теории и без содействия общественной власти: нужно же объяснить потребности времени, признать законность нового и дать ему юридическое ограждение. Если мы захотим в чем бы то ни было важно обходиться без этого, мы просто не имеем понятия об отношении общества и его учреждений к человеческой мысли и к общественной власти. Нет ни одной части общественного устройства, которая утвердилась бы без теоретического объяснения и без охранения от правительственной власти. Возьмем вещь самую натуральную: существование семейства. Если бы европейские законы не определяли семейных отношений, могло ли бы утвердиться наше понятие, например, о единоженстве или о праве наследства? Различие в праве наследства, существующее между нациями равно образованными, доказывает важность законодательных определений в этих вопросах. В чем же заключается действительный смысл понятий о естественности, как о чем-то независимом от законодательных постановлений? Он заключается в том, что законы для своей прочности и благотворности должны быть сообразны с потребностями известной нации в известное время. В противном случае законы оставались бы бессильны и недолговечны. Таким образом, законодательное определение вовсе не служит нормою естественности; может называться естественным такое учреждение, которое ограждено законами, и могут называться неестественными такие учреждения, которые также ограждены законами. Дело состоит только в том, сообразны ли будут законы с потребностями нации.

Это говорит здравый смысл и беспристрастие; но не то говорят эгоистические интересы. У чехов есть превосходная древняя песня о суде Любуши. Она относится к тому времени, когда чехи были еще язычниками, но уже начали чувствовать немецкое влияние. По старому чешскому обычаю, который был у всех славян, недвижимая собственность оставалась в общем владении сыновей. В крайних случаях, при невозможности мирных отношений между братьями-сонаследниками, допускался ровный раздел между всеми сыновьями. Вот умер на «Кривой Отаве» владелец, как видно, очень важный и богатый. Двое сыновей его не могли поладить между собою в вопросе о наследстве. Дело доходит до княжны, она созывает народный сейм для его решения. Что нам делать с братьями? спрашивает она:

Вадита се круто мезу собу (о дедине огне);
Будета им оба в едно власти,
Чи се разделята ровну меру? —

«Ссорятся они жестоко между собою (из-за поместий отцов-

ских); будут ли они ими оба заодно владеть, или разделаться равной мерой?» Сейм отвечает:

Будета им оба в едно власти, —

«Должны они оба ими заодно владеть». Едва услышал это решение старший брат, Хрудош, он встал. «Тряслись у него от ярости все члены; махнул он рукой, заревел, как дикий бык: горе птенцам, к которым залезет змея! горе мужчинам, которыми управляет женщина! Мужчи́нами должен управлять мужчина; старшему сыну по справедливости должно отдать поместье.

Встану Хрудош от Отаве Криве,
Трясехусе яростю вси уди;
Махну руку, зарве ярим турем:
«Горе птенцем, к ним-жь се змия внори,
Горе мужем, им же жена владе!
Мужу власти мужем заподобно,
Первенцу дедину дати правда!»

Экономисты не любят нераздельного владения, но еще меньше одобряют они право первородства; а между тем Хрудош находит натуральным и справедливым, чтобы старший сын получал все поместье. Точно так во всех делах и вопросах; каждый называет естественным то, что сообразно с его выгодами: североамериканские плантаторы находят естественным, чтобы черная раса была в невольничестве у белой; английские землевладельцы находили естественным, чтобы английское земледелие охранялось пошлинами от иностранного соперничества; банкиры находят естественным такой порядок, по которому они владывают над денежным рынком; мануфактуристы находят естественным, чтобы фабрика имела хозяина, в пользу которого шли бы выгоды предприятия; я могу находить естественным, чтобы публика поклонялась мне за мои статьи; г. Горлов может находить естественным, чтобы его книгу называли очень хорошей: что сказать обо всех этих претензиях? Обо всех одинаково надобно сказать, что личный интерес облекает иллюзией естественности все дела без разбора, которые для него выгодны.

С этой точки зрения наука, которая должна быть представительницею человека вообще, должна признавать естественным только то, что выгодно для человека вообще, когда предлагает общие теории. Если она обращает внимание на дела какой-нибудь нации в отдельности, она должна признавать естественными те экономические учреждения, которые выгодны для этой нации, то есть, в случае разделения между интересами разных членов нации, выгодны для большинства ее членов. Если так, то совершенно напрасно говорить о естественности или искусственности учреждений, — гораздо прямее и проще будет рассуждать только о выгодности или невыгодности их для большинства нации или для человека вообще: искусственно то, что невыгодно. Заменять

Точный термин другим, произвольно выбранным, значит только запутывать смысл дела.

Мы старались найти смысл во фразах о естественности, которая будто бы должна служить необходимой принадлежностью экономических учреждений, и, наконец, успели найти точку зрения, с которой эти фразы могут казаться не совершенным пустословием; но точка зрения, нами найденная, — чисто субъективная, производимая иллюзией личной выгоды. Нет надобности говорить, что наука не должна смотреть на предметы таким образом; она должна стараться понимать их в том виде, какой они действительно имеют, а не в таком, какой обыкновенно придается им страстями. Теперь спросим каждого, имеющего хотя какое-нибудь понятие о законах природы, может ли что-нибудь на свете, важное или неважное, происходить неестественным образом? Действие не бывает без причины; когда есть причина, действие непременно будет; все на свете происходит по причинной связи. Это известно каждому школьнику. Связь причины и действия естественна и неизменна; ничего противного ей не может случиться, все требуемое ею непременно должно произойти. После этого, кажется, ясно должно быть, что неестественного ничего никогда в мире не было и не будет. Финикийцы приносили своих детей в жертву Молоху; это они делали очень дурно; но если вы разберете их понятия, то есть их суеверия, то вы увидите, что дело это было для них совершенно естественно, что люди с такими понятиями не могли не бросать своих детей в огонь для умилостивления Молоха. Отчего же у них были такие дикие понятия? Опять-таки, разберите их историю, и вы увидите, что им естественно было иметь такие понятия. Феодалный рыцарь убивал и грабил еврея, да и не только еврея, а всякого, не принадлежащего к рыцарскому обществу, с таким же спокойствием совести, как вы пьете чашку чая. В его положении, с его понятиями естественно было ему поступать и чувствовать таким образом. То положение общества, которым произведены были такие понятия и поступки, возникло также самым естественным образом. Судя по этому, очень легко угадать, что скажут о нынешнем естественном порядке дел наши потомки.

Впрочем, нет надобности этому естественному порядку дел ждать мнений потомства, чтобы услышать приговор себе. Каково бы ни было положение и понятия общества, все-таки тем же самым естественным путем являются в нем или отдельные лица, или целые сословия, которые судят о делах не по временным и местным преданиям и предупреждениям, а просто по здравому смыслу и по чувству справедливости к человеку вообще, а не к рыцарю или вассалу, не к фабриканту или работнику. Каким путем развивается в них сознание о правах человека вообще, без всяких подразделений, — все равно; в иных производится оно высоким развитием мысли; таков, например, был Мильтон,

провозглашавший свободу совести во времена смертельной религиозной вражды, когда честные пуритане и бесчестные иезуиты одинаково думали, что должны казнить друг друга. Иногда это сознание развивается невыносимостью личного положения; так родился средневековый припев, который повторялся крестьянами на всех европейских языках, от английского и французского до польского и чешского: «когда Адам пахал, а Ева пряла шерсть, не было тогда рабов»³². Задолго до уничтожения рабства был произнесен над ним этот приговор, и стоит только сделать ряд вопросов, чтобы получить суждение о нынешнем естественном порядке вещей. Мы не будем предлагать этих вопросов; они приходят в голову каждому, в ком есть искра человеческого чувства, или кто подвергся несправедливости, или кто терпит лишения. Мы скажем только, что все естественно: и хорошее, и дурное. Естественность — не рекомендация.

Зато и искусственность тоже не должна служить ни порицанием, ни похвалою, потому что ни к одной мысли, ни к одному действию даже отдельного человека, не только к какому-нибудь плану, принимаемому многими людьми, или к какому бы то ни было учреждению, обнимающему многих людей, эпитет неестественности или искусственности не может относиться на точном научном языке. Вы скажете, например, что какой-нибудь жеманный франт говорит искусственным языком, делает искусственные ужимки. В житейском языке, в котором слова имеют условный смысл и в котором, например, выражение «ваш покорнейший слуга» означает просто «я кончил свое письмо», — в житейском языке почему и не выразиться таким образом? Но если вы хотите говорить языком науки, вы не имеете права сказать, чтобы франт, делающий нелепые ужимки, держал себя искусственно; по его понятиям об изяществе манер, он естественно должен делать такие ужимки; а его понятия естественно получили такой характер от его воспитания и от его отношений к обществу. Само собою разумеется, что о таких пустых вещах, как ужимки какого-нибудь франта, смешно и глупо выражаться научным языком; но в ученых книгах о таких важных вещах, как экономические учреждения, говорить языком, не соответствующим научной точности, значит также поступать глупо и, позволять прибавить, значит поступать недобросовестно. Извинять подобные выражения можно только отсутствием философского образования; потому они, конечно, извинительны, например, для Бастиа, который в знаменитом споре о даровом кредите обнаружил совершенное незнакомство с самыми элементарными приемами и терминами гегелевской диалектики. Мы не говорим, чтобы гегелевская диалектика была хороша; мы только думаем, что человек, не имеющий понятия о таком важном факте, как, например, Гегелева философия, не может считаться просвещенным человеком, и становится смешон, когда принимается рассуждать об ученых пред-

метах. И вот этакой господин полюбил слово естественность и вздумал клеймить словом искусственность все, что ему не нравилось. И вот господа экономисты с восхищением схватились за эти слова; это не делает чести их ученому образованию.

Как в истории общества каждый последующий фазис бывает развитием того, что составляло сущность предыдущего фазиса, и только отбрасывает факты, мешавшие более полному проявлению основных стремлений, принадлежащих природе человека, так и в развитии теории позднейшая школа обыкновенно берет существенный вывод, к которому пришла прежняя школа, и развивает его, отбрасывая противоречившие ему понятия, несообразность которых не замечалась прежнею теориею. Мы видели основные идеи, до которых дошла теория капиталистов: наивыгоднейшее положение производства то, в котором продукты труда принадлежат трудившемуся; наивыгоднейшее распределение ценностей то, в котором часть каждого члена общества, по возможности, близка к средней цифре, получаемой из отношения массы ценностей к числу членов общества. Мы видели, что теория трудящихся, принимая эти основные идеи, точнее образом развивает понятие о производительном труде и говорит, что труд, обращенный на производство продуктов, не соответствующих настоятельнейшим потребностям человеческого организма, должен в нынешнее время считаться непроизводительным, пропадающим для общества; мы говорили, что средств к развитию производительного и к уменьшению непроизводительного труда новая теория ищет в учреждениях, которыми давалось бы наивыгоднейшее для общества распределение ценностей. Дух этих учреждений легко определится, если мы сообразим экономические качества лиц, интересам которых должна удовлетворять новая теория. Важнейшее различие между лицом, вносящим в производство труд, и лицом, которому принадлежит капитал, определяется следующими чертами: в производстве трудящийся действует только собственными силами, между тем как капиталист располагает силами многих лиц; в распределении ценностей трудящийся не может иметь более того, что произведено им самим, а капиталист приобретает сумму ценностей, производимую трудом многих; цель производства для трудящегося есть потребление произведенных ценностей, а для капиталиста — сбыт их в другие руки для выигрыша через обмен. Мерилом производства для трудящегося служат надобности его собственного потребления (если труд в один день доставлял бы ему все, что нужно для потребления в целую неделю, он стал бы трудиться только один день в неделю), а мерилем производства для капиталиста служит только размер сбыта.

Таким образом, трудящийся не находится к другим лицам, занимающимся тою же работою, во враждебном отношении, как капиталист. Он может только желать, чтобы в других промыслах

производилось больше, но не имеет интереса желать, чтобы уменьшилось производство других трудящихся, занимающихся тем же промыслом, как он. Ныне, когда трудящийся не имеет самостоятельности, подчинен расчетам и оборотам капиталиста, этот существенный характер отношения к другим трудящимся затемняется соперничеством между работниками для получения работы. Но выйдем в чувства и рассмотрим круг деятельности тех трудящихся, которые работают самостоятельно, — мы увидим, что для них, даже при нынешнем порядке распределения ценностей, нет интереса действовать во вред другим трудящимся того же промысла. Представим себе, например, русскую или французскую деревню, в которой у каждого домохозяина есть свой участок земли и которая лежит в таком глухом месте, что наемных земледельческих работников нельзя там найти*. Представим, что экономический округ, к которому принадлежит эта деревня, имеет самый малый объем, хотя бы даже только одну милю в поперечнике. Представим, что он населен очень мало; все-таки эта квадратная миля будет иметь несколько сот человек населения. Предположим сохранение нынешнего определения продажной цены не по стоимости производства, а по отношению между спросом и предложением. Все-таки разорение соседа не может принести никакой выгоды земледельцу этой деревни: для продовольствия жителей нужен земледельческий труд нескольких десятков семейств, и устранение одного или двух из числа земледельцев несколько не поднимет цены на хлеб. Когда было, например, пятьдесят семейств, производивших по десяти четвертей хлеба, производство было 500 четвертей. Если Ивану удалось разорить Петра и осталось только 49 производителей, количество хлеба уменьшилось только на одну 50-ю долю, и цена его не могла повыситься от этой ничтожной перемены. Иван, не имея наемных работников, не может производить хлеба больше прежнего, и, продавая попрежнему 10 четвертей по прежней цене, не найдет себе никакой выгоды от разорения Петра. Конечно, дело иное, если б разоренный поступил к нему в наемные работники: тогда он увеличил бы свое производство и получил бы больше выгоды; но тогда он занял бы уже положение капиталиста, и это показы-

* Экономисты, с обыкновенной своей проникательностью, обратятся на выражение «глухая местность» и скажут, что предполагаемый нами быт возможен только при неравности экономического быта. Действительно, работник при нынешнем порядке дел может сохранять самостоятельность только в тех местах и промыслах, которые не охвачены биржевым коммерческим духом. Но читатель знает, что теория трудящихся именно к тому и стремится, чтобы дух спекуляции, то есть отчаянного риска, заменился духом производительного труда, который рассчитлив и потому враждебен спекуляции. Через несколько строк мы скажем, каким образом выгодная сторона нынешнего производительного развития сохраняется и даже усиливается в теории трудящихся с устранением убыточной своей стороны, то есть направления к рискованному и непроизводительному труду.

вает нам, каким образом и по какому расчету возникает особенный класс капиталистов. Но читатель заметит, что возникновение капиталиста основывается на разорении другого человека, то есть на предварительной потере некоторого количества ценностей, находившихся в обществе. Теория, дух которой мы определяем теперь, стремится именно к тому, чтобы предотвратить всякую потерю ценностей; а из этого следует, что если она может найти средства для своей цели, то и превращение Ивана в капиталиста не будет допускаться экономическим порядком, ею излагаемым.

Итак, трудящийся, пока остается трудящимся, не имеет выгоды себе в подрыве людей, занимающихся тем же производством, как он. Число рук, требуемых каждым производством, так велико, что цена продуктов не может изменяться от происков, направленных против того или другого человека, трудящегося в этом производстве. Даже при нынешнем порядке мы видим, что земледельцы, имеющие свое хозяйство, проникнуты взаимным доброжелательством; между ними нет соперничества в том виде, какое существует между фабрикантами, торговцами или большими фермерами. В чем же может состоять конкуренция по теории трудящихся, если она не имеет в ней стремления подорвать друг друга, какое принадлежит ей в теории капиталистов? Она просто состоит в выгоде производить наибольшее количество продуктов в данное время. Выгода капиталиста требует увеличивать число своих покупателей, то есть при данном размере рынка отбивать покупателей у своих соперников. Выгода трудящегося требует наработать побольше в каждый день. Из этого мы видим, что по ней сохраняют всю свою привлекательность средства к усовершенствованию производства. Трудящийся не хуже капиталиста должен чувствовать выгодность усовершенствованного инструмента, если трудится в свою пользу. Разница только в том, что выгода, приносимая этим усовершенствованием, производится различным образом по отношению к другим людям, занимающимся тою же отраслью производства: выгода, получаемая трудящимся, остается его выгодой и только; выгода, получаемая капиталистом, происходит из подрыва других.

До сих пор мы говорили о ходе дел при нынешнем порядке. Но для того, чтобы изложить дело яснее, надобно отбросить понятие денег и говорить только о продуктах, как делает и господствующая экономическая теория. Представим себе общество, для удовлетворения нуждам которого потребно в год 1000 пар платья, производимых трудом 6000 рабочих дней; считая по 300 рабочих дней в году, мы видим, что производством платья должны заниматься 20 человек. Представим себе, что ни один из этих 20 человек не находит выгоды или возможности расширить свое производство на счет других. Должен ли будет он и при таком порядке дел желать усовершенствований в производстве платья?

Он производит 50 пар платья и на каждую пару употребляет 6 рабочих дней. Выгодно ли будет для него введение какого-нибудь нового инструмента, сокращающего работу на одну треть? Разумеется, выгодно. Тогда он произведет свои 50 пар платья, по 4 дня на каждую пару, не в 300, а только в 200 дней, и 100 дней будет у него выиграно. Он может употребить их на отдых или на какое-нибудь новое занятие, для которого общество до сих пор не имело времени.

Читателю могут показаться совершенно излишними эти рассуждения. Может ли в здоровой голове родиться мысль о том, что усовершенствование производства, то есть сокращение труда, бывает приятно человеку только тогда, когда служит ему средством приобрести себе новых покупателей, и перестанет казаться ему приятным и выгодным, если число покупателей останется у него прежнее? Да, трудно вообразить себе такую нескладицу, но экономисты с важностью провозглашают ее, когда уверяют, что соперничество в нынешнем своем виде необходимо для усовершенствования производства. Им кажется, будто человеку хлеб вкусен бывает только тогда, когда отнят у другого.

Не имея причин зложелательствовать друг против друга, трудящиеся не имеют побуждений держаться каждой особняком. Напротив, они имеют прямую экономическую необходимость искать взаимного союза. Почти каждое производство для своей успешности требует размеров, превышающих рабочие силы одного семейства. Капиталист не нуждается в союзе с другими, потому что располагает силами множества людей. Трудящийся, располагая силами только своей семьи, должен вступать в товарищество с другими трудящимися. Это для него легко, потому что нет ему причины враждовать против них. Таким образом, форма, находимая для производства теорией трудящихся, есть товарищество.

Тут мы опять встречаем возражение, забавность которого может быть сравнена только с самодовольствием, с каким экономисты повторяют его, как будто бы неопровержимый аргумент. Дело, имеющее одного хозяина, идет успешнее, нежели дело, производимое товариществом, говорят они. Это возражение до того несообразно с сущностью вопроса, что может свидетельствовать только о рутинной тупости, лишенной способности понимать новые идеи, или о недобросовестности, нагло рассчитывающей на незнакомство большинства публики с сущностью дела.

Во-первых, можно отдавать предпочтение одной форме дела над другою только тогда, когда обе формы возможны при данных условиях дела. Например, можно спорить о том, что выгоднее для английского лендлорда: делить свою землю на крупные или на мелкие фермы. Но невозможно рассуждать в Англии о том, должен ли лендлорд сам быть фермером, или отдавать свою землю в аренду. При условии английской жизни и при обшир-

ности поместий, лендлорду невозможно быть самому своим фермером. Потому, хотя с абстрактной точки зрения собственнику выгоднее самому возделывать свою землю, но в Англии преобладает отдача ферм внаймы, и ратовать против такого стремления английских лендлордов — вещь совершенно напрасная, пока остаются нынешние обычаи и нынешнее распределение поземельной собственности. Точно так, все равно, выгоднее ли ведется дело одним хозяином или товариществом, если трудящиеся имеют стремление и выгоду быть самостоятельными: самостоятельность в производстве возможна для них только при форме товарищества, потому возражать против стремления их теории к товариществу в производстве — дело совершенно напрасное. Если вам угодно опровергать эту форму, доказывайте, что трудящиеся не должны иметь стремления к самостоятельности. А если вы не хотите говорить этого, потому что говорить это значило бы отвергать свободу труда, объявлять себя защитником несамостоятельности труда, защитником крепостного состояния и рабства, вы не имеете логического основания для возражений против товарищества.

Мы не знаем, выгоднее ли шла бы постройка железных дорог, если бы эти предприятия принадлежали отдельным хозяевам, а не акционерным компаниям; экономнее ли было бы управление построенными железными дорогами, если бы каждая дорога принадлежала одному хозяину. Но дело в том, что железная дорога не может быть построена иначе, как акционерным обществом (если не строится государством); это дело превышает силы отдельного капиталиста. Итак, спрашивается только: выигрывает ли общество через постройку железных дорог, нужны ли они? — Да. Могут ли они быть строимы отдельными капиталистами? — Нет. После этого всякая речь о сравнительной выгодности строения железных дорог отдельными капиталистами, а не товариществами капиталистов, становится пустословием. Так точно мы спрашиваем: выигрывает ли трудящийся, если приобретает самостоятельность в труде, должен ли он хотеть, чтобы все продукты его труда оставались в его руках? — Да. Каждый неизбежно желает своей выгоды, и общество не может не выигрывать, когда выигрывает вся масса населения, которая состоит из трудящихся. Могут ли трудящиеся достичь этой цели иначе, как посредством товарищества в производстве? — Нет. После этого всякая речь о выгодах одиночного хозяйства над товариществом становится пустословием.

Теория трудящихся имеет полное право говорить, что не принимает возражения о выгодах одиночного хозяйства, как возражения, не применяющегося к сущности данных положений. При каком порядке дел производство идет успешнее: при рабстве или при свободе? Я этого не знаю и не хочу знать; я знаю только, что рабство противно врожденным стремлениям раба, что свобода

соответствует им, и потому я говорю, что производство должно иметь форму свободы. На какой фабрике больше производится продуктов: на фабрике, принадлежащей одному хозяину-капиталисту, или на фабрике, принадлежащей товариществу трудящихся? Я этого не знаю и не хочу знать; я знаю только, что товарищество есть единственная форма, при которой возможно удовлетворение стремлению трудящихся к самостоятельности, и потому говорю, что производство должно иметь форму товарищества трудящихся.

Мы говорим: все равно, увеличивается или уменьшается успешность производства через замещение рабства свободой и одиночного хозяина товариществом трудящихся, — все равно, потребности человека заставляют утверждать, что самостоятельность трудящихся, даваемая только формой товарищества, выгоднее для общества, нежели хозяйство отдельного капиталиста, как свобода выгоднее рабства для общества. Но как при свободе успешнее идет и самое производство, точно так же при форме товарищества оно должно идти успешнее, нежели при хозяйстве отдельного капиталиста.

Одну из причин этого мы видели, когда говорили об общем принципе производства, указываемом самою теорией капиталистов: успешность производства пропорциональна энергии труда, а энергия труда пропорциональна степени участия трудящегося в продуктах; потому наимыгоднейшее для производства положение дел то, когда весь продукт труда принадлежит трудящемуся. Форма товарищества трудящихся одна дает такое положение дел, потому должна быть признана формой самого успешного производства.

Другая причина заключается в направлении производства, в характере продуктов, на которые будет обращен труд. Мы видели, что производительным трудом должен называться только тот, который обращен на производство предметов нужных, — таких предметов, потребление которых одобряется расчетливостью и благоразумием. С точки зрения трудящихся, такие продукты — вещи, удовлетворяющие необходимейшим потребностям человеческого организма. Пусть каждый рабочий день производит ценностей на один рубль. Пусть для благосостояния трудящегося с его семейством нужно потребление ценностей первой необходимости на 200 рублей в год. Пусть общество состоит из 100 человек трудящихся. Пусть в этом обществе 40 человек заняты производством продуктов роскоши. Тогда для производства предметов первой необходимости остается 60 трудящихся. Они производят по 1 руб. в 300 дней — всего на 15 000 рублей продуктов первой необходимости, то есть для потребления каждого трудящегося производится ценностей только на 150 рублей, между тем как для его благосостояния нужно 200. Ясно, что трудящиеся должны нуждаться.

Самостоятельность трудящихся имеет тот экономический смысл, что они трудятся для собственного потребления. Потому, пока не достаточно продуктов первой надобности для их потребления, они не займутся производством других продуктов. Положим, что форма товарищества уменьшает успешность их труда, так что в рабочий день производится ценностей только на 70 копеек. Но зато все 100 трудящихся работают над производством предметов первой необходимости, и в каждый день производится их на 70 руб., а в 300 дней на 21 000. Ясно, что каждый трудящийся будет иметь предметов первой необходимости на 210 руб., когда для благосостояния нужно только 200. Ясно, что общество трудящихся имело бы избыток даже при предполагаемом уменьшении успешности труда, тогда как прежде оно терпело нужду даже при предполагаемой большей успешности его.

Это значит вот что: если из двух работников только один занят, например, земледелием, а другой — производством бронзовых украшений, то общество и в том числе они скорее подвергнутся недостатку хлеба, нежели когда оба они заняты производством хлеба, хотя бы, работая оба над производством хлеба, они производили только по 10 четвертей, а при занятии одного производством бронзовых украшений — другой оставшийся при земледелии производил по 15 четвертей в год. Во втором случае, при работе более успешной, общество имеет только 15 четвертей хлеба, а в первом случае, при работе даже менее успешной, оно имеет 20 четвертей.

Но мы видели, что успешность труда в каждый рабочий день должна не уменьшиться, а увеличиться; потому избыток, производимый формой товарищества, должен быть гораздо более значителен.

Есть еще третья причина большей успешности труда при форме товарищества. Мы видели, что мерилом производства для трудящегося служит не сбыт продуктов, а надобность собственного потребления. Потребление имеет в себе элемент постоянства, которого лишен сбыт. Вы можете наверное рассчитывать, сколько хлеба нужно для известного семейства на неделю, на месяц, на год; обед должен быть и ныне, и завтра. Не то в вопросе о сбыте: ныне на бирже требуются сотни тысяч четвертей хлеба или тюков хлопчатой бумаги, через неделю не потребуются, быть может, ни одной четверти, ни одного тюка. Сбыт не идет размеренным шагом, как потребление; он вечно находится в лихорадочных пароксизмах, и крайняя энергия сменяется в нем совершенным бессилием. К довершению гибельности, невозможно заблаговременно предусматривать ни времени, ни продолжительности этих перемен, ни интенсивности каждой из них. Потому производство капиталиста подвержено непрерывным застоям, а весь экономический порядок, основанный не на потреблении, а на сбыте, подвержен неизбежным промышленным и торговым

кризисам, из которых каждый состоит в потере миллионов и десятков миллионов рабочих дней. Эти кризисы, эта насильственная утрата рабочего времени невозможна при производстве, мерилом которого служит потребление. Пусть производство капиталиста, основанное на сбыте, может бежать с быстротой Ахиллеса; пусть производство товарищества трудящихся идет с медленностью черепахи; но мы еще в детстве узнали, что черепаха, шедшая безостановочно, опередила Ахиллеса, который, с изумительной быстротою сделав несколько шагов, сядил и терял даром время.

Если мы сообразим все эти обстоятельства, дающие перевес производству под формою товарищества трудящихся над производством отдельного капиталиста, если мы вникнем в громадную силу каждого из этих обстоятельств и подумаем, в какой громадной пропорции должна возрастать она от дружной помощи двух других обстоятельств, то мы должны будем сказать, что степень возвышения, которую должна произвести в благосостоянии общества эта форма, далеко превосходит все ожидания, к каким мы способны теперь, при нашем рутинном понятии об идеале общественного благосостояния. Как самые жаркие проповедники уничтожения феодальных учреждений остались со всеми своими панегириками призываемому новому веку далеко ниже действительности, которую принес он людям, так и мы теперь, какого благосостояния ни ожидали бы от формы товарищества между трудящимися, не в силах вообразить себе ничего равного высокому благосостоянию, которое произведет она в действительности.

Думая о том, что люди, называющиеся учеными, воображающие себя доброжелательными и честными, напрягают все свои силы, чтобы пустозвонными декламациями и тупыми возражениями, не идущими к делу, задержать реформу столь благотворную, мы не можем не иметь к ним того чувства, которое человек, желающий улучшений в жизни, имеет к обскурантам и ретроgrадам. Они говорят о своей добросовестности, об искренности своих убеждений. Но разве огромное число всяких вообще обскурантов не состоит также из людей добросовестных? Мало того, чтобы быть человеком честным; нужно также думать о том, чтобы не отстать от потребностей века в своем образе мыслей. Тяжко грешит против общества тот, кто воображает, что не нужно ему проверять понятий, бог знает как и бог знает когда зашедших к нему в голову и принадлежащих положению общества, далеко не похожему на нынешнее. Но если таково наше мнение о так называемых экономистах, то читатель видел, что мы вовсе не подвергаем безусловному осуждению теорию Адама Смита и Рикардо, которой они до сих пор продолжают держаться. Нам кажется, что отличие новой теории от этой устарелой состоит только в том, что новая теория, овладевая существенными выводами старой, развивает их с полнотою и последовательностью,

которых не могла достигать прежняя теория. Прежняя теория провозглашала товарищество между народами, потому что благосостояние одного народа нужно для благосостояния других. Новая теория проводит тот же принцип товарищества для каждой группы трудящихся. Прежняя теория говорит: все производится трудом; новая теория прибавляет: и потому все должно принадлежать труду; прежняя теория говорила: непроеизводительное никакое занятие, которое не увеличивает массу ценностей в обществе своими продуктами; новая теория прибавляет: непроеизводительны никакой труд, кроме того, который дает продукты, нужные для удовлетворения потребностей общества, согласных с расчетливою экономией. Прежняя теория говорит: свобода труда; новая теория прибавляет: и самостоятельность трудящегося.

Мы все говорили только о духе экономического порядка, требуемого теорией трудящихся, но не говорили о тех способах, которыми она предполагает достичь своей цели. Если читатель припомнит сказанное нами в начале статьи о характере правил, представляющих способ исполнения, он не будет ожидать, чтобы мы предложили какой-нибудь способ, как неизбежный и непеременимый. Способ зависит от нравов народа и обстоятельств государственной жизни его. Англичанину кажется удобным расположение квартиры в два или три этажа, о чем и не думают другие народы. Строить его дом по одному плану с русским или французским значило бы напрасно тревожить его привычки. Можно сказать вообще только то, что каждый дом должен быть опрятен, сух и тепл. Различных планов для исполнения требований новой теории находится много, и который из них вы захотите предпочитать другому, почти все равно, потому что каждый из них в существенных чертах своих сходен с другими и удовлетворителен, и из каждого легко могут быть удалены те подробности, которые составляют причину споров между его приверженцами и защитниками других планов. Экономисты и обскуранты всякого рода, либеральные и нелиберальные, говорят, что всеми этими планами стесняется индивидуальная свобода. Мы теперь не можем читать без улыбки такой упрек, потому что припомним о том, как случалось нам потешаться над ним в изустных спорах. Мы употребляли военную хитрость такого рода: когда говорили нам, что теория, нами защищаемая, стесняет индивидуальную свободу, мы спрашивали: о ком же, например, из главных мыслителей этой теории может сказать это наш противник? Он называл несколько имен. Мы спрашивали, которое из них принадлежит самому злейшему стеснителю свободы? Узнав, кто именно жесточайший тиран, мы говорили, что не можем защищать его, и переменяли разговор. Через четверть часа мы, под именем плана, составленного собственно нами, излагали теорию писателя, защищать которого отказывались прежде, и спрашивали у нашего противника замечаний о недостатках, какие могут

быть в нашем плане; он делал разные замечания, но никогда не случилось нам слышать в числе их, чтобы изложенный план стеснял свободу. Выслушав до конца, мы говорили, обращаясь к другим собеседникам: «изложенный мною план, в котором г. такой-то, находя всякие недостатки, не нашел стеснительности для свободы, принадлежит именно тому мыслителю, идеи которого он называл стеснительными для свободы». После этого защитник свободы, разумеется, не мог продолжать спора: оказывалось, что он не имел понятия о том, что осуждал. Это средство очень верное. Действительно, почти ни один из людей, нападающих на так называемые утопические планы, не знает хорошенько сущности ни одного из этих планов. Да и удивительно ли, что экономисты не имеют отчетливого понятия об идеях своих противников, если обыкновенно остаются незнакомы хорошенько даже с Адамом Смитом, которого называют своим учителем?

Пользуясь способом, о котором мы сейчас говорили, мы предлагаем *свой* план осуществления теории трудящихся, прося читателей обратить внимание на то, стесняется ли свобода этим планом, который приспособлен к нравам стран, потерявших всякое сознание о прежнем общинном быте и только теперь начинающих возвращаться к давно забытой идее товарищества трудящихся в производстве. Надобно сказать также, что в государстве, для которого предназначался этот план, правительство ежегодно бросает десятки миллионов на покровительство сахарным заводчикам и оптовым торговцам. Кроме того, оно дает десятки миллионов взаймы компаниям железных дорог и тратит десятки миллионов на разные великолепные постройки.

Правительство назначает такую сумму, какая сообразна с его финансовою возможностью, для первоначального пособия основанию промышленно-земледельческих товариществ. За эту ссуду оно получает обыкновенные проценты, и ссуда погашается постепенными взносами в казну из прибыли товариществ.

Само собою разумеется, что пособия от казны предполагаются только для ускорения дела. Теперь есть много примеров, что товарищества основывались без всякой посторонней помощи. Но если оптовые торговцы и компании железных дорог получают пособия, то нельзя назвать излишней притязательностью предположение, что трудящийся класс также имеет некоторое право ожидать от государства такого содействия, которое не будет стоить ни одной копейки казне: получая проценты и постепенно возвращая выданный капитал, она тут не жертвовательница, а просто посредница между биржею и трудящимся классом.

Теперь идея товарищества дело еще новое, и для ее осуществления нужна некоторая теоретическая подготовленность. Поэтому на первый раз ведение дела поручается человеку, которого правительство признает представляющим надлежащие гарантии знания и добросовестности.

Приглашаются желающие участвовать в составлении товарищества. Число участников в каждом товариществе полагается от 1 500 до 2 000 человек обоего пола; они принимаются в товарищество с согласия директора, который отдает предпочтение семейным людям над бессемейными. Таким образом товарищество состоит из 400 и 500 семейств, в которых будет до 500 или больше взрослых работников и столько же работниц. Как поступили они в товарищество по своему желанию, так и выходить из него каждый может, когда ему вздумается.

В государстве, к которому относится план, находится среди полей множество старинных зданий, стоящих запущенными и продающихся за бесценок. Для товарищества всего выгодней будет купить одно из таких зданий, поправка которого не требовала бы особенных расходов. Но если оно найдет выгоднейшим, то можно построить новые здания; словом сказать, дело это ведется совершенно по такому же расчету, как постройка или покупка здания для какого-нибудь обыкновенного промышленного заведения. Надобно только, чтобы при здании было такое количество полей и других угодий, какое нужно для земледелия по расчету рабочих сил товарищества.

Разница от обыкновенных фабрик и домов для помещения работников состоит в том, что квартиры устраиваются с теми удобствами, какие нужны по понятиям самих работников, которые будут жить в них. Так, например, квартира для семейного человека должна иметь число комнат, нужное для скромной, но приличной жизни. Число квартир устраивается приблизительно соразмерное с числом желающих пользоваться такими квартирами. Но кому не угодно жить в этом большом здании, тот может нанимать себе квартиру, где найдет удобным. Обязательного правила тут нет никакого.

При здании находятся принадлежности, которые требуются нравами или пользою членов товарищества. По нравам того народа и его потребностям такими принадлежностями считаются: церковь, школа, зала для театра, концертов и вечеров, библиотека. Кроме того, разумеется, должна быть больница.

По архитектурным сметам, то есть по цифрам, точность которых каждый может проверить, оказывается, что такое здание, со всеми своими принадлежностями и удобствами, будет стоить такую сумму, что лица, поселившиеся в нем, получают квартиру и гораздо лучше и гораздо дешевле помещений, в каких живут ныне. Цена за квартиры полагается такая, чтобы за вычетом ремонта капитал, затраченный на здание, давал процент, обычный в том государстве.

Товарищество будет заниматься и земледелием, и промыслами или фабричными делами, какие удобны в той местности. Инструменты, машины и материалы, нужные для этого, покупаются на счет товарищества.

Словом сказать, товарищество находится относительно своих членов в таком же положении, как фабрикант и домохозяин относительно своих работников и жильцов. Оно ведет с ними совершенно такие же счеты, как фабрикант с работниками, домохозяин с жильцами. Нового и неудобноисполнимого тут очень мало, как видим.

Теперь, когда здание готово и все нужное для работ приобретено, начинается дело.

Одним из важных экономических расчетов служит то, что земледелие требует громадного количества рук в недолгие периоды посева и уборки, а в остальное время представляет мало занятий. Товарищество должно пользоваться временем как можно расчетливее, потому во время горячих земледельческих работ все члены его приглашаются заниматься земледелием, а другими промыслами и работами занимаются в свободное от земледелия время. Впрочем, обязанности и тут нет никакой: кто чем хочет, тот тем и занимается. В каждом промысле, для каждого разряда работников существует та самая плата, какая обычна для него в тех местах. Какое же средство привлечь все руки к земледелию, когда оно требует наибольшего числа рук? Товарищество знает, что количество работы составляет сущность дела, потому во время посева и уборки назначает за земледельческую работу такую плату, чтобы огромное большинство членов его, занимающихся обыкновенно промыслами, увидело для себя выгоду обратиться на время к земледелию. Как видим, товарищество держится в этом случае обыкновенных в нынешнее время средств: оно держится их и во всех других случаях. Работники, не занимавшиеся до той поры земледелием, на первый год, конечно, будут пахать или косить хуже записных земледельцев; но под их руководством исполнят новое дело сносным образом, а на следующие годы и вовсе привыкнут к нему.

Мы говорили, что каждый занимается тою работою, какую знал или какую хочет выбрать. Разумеется, однакож, что товарищество и в этом случае руководится расчетом. Сапожники, портные, столяры, конечно, для него нужны, и оно найдет выгодным иметь такие мастерские. Но если бы иной член вздумал заняться производством ювелирных вещей, товарищество рассудит, нужна ли ему такая работа: если нужна, оно заведет ювелирную мастерскую, если нет, то скажет ювелиру, что когда он непременно хочет заниматься только ювелирством, а не другим чем-нибудь, то пусть ищет себе работы где ему угодно, а оно, товарищество, не может доставить ему мастерской такого рода. На первый раз этот разбор возможного и невозможного зависит от благоразумия директора, который набирает членов.

Но власть директора не ограничена только до того времени, пока записываются поступающие члены; как только состав товарищества определился, члены его по каждому промыслу выби-

рают из своего числа административный совет, согласие которого нужно во всех важных делах и вопросах, относящихся к этому промыслу; а все члены товарищества выбирают общий административный совет, который постоянно контролирует директора и выбранных им помощников и без согласия которого не делается в товариществе ничего важного.

Но вот прошел год; члены товарищества успели достаточно узнать друг друга и приобрести опытность в том, как ведутся дела. Власть прежнего директора, назначенного правительством, становится уже излишней и совершенно прекращается. Со второго года все управление делами товарищества переходит к самому товариществу; оно выбирает всех своих управителей, как акционерная компания выбирает директоров. Быть может, опыт и склонности членов товарищества указали неудобства некоторых определений устава, которым управлялось товарищество в первый год. В таком случае что же мешает товариществу изменить их по своим надобностям и желаниям? Конечно, если первоначальный директор был человек рассудительный, если он принимал людей в члены товарищества с осмотрительностью, то члены набрались такие, которые понимают, в чем сущность дела, к которому они присоединились. Они, вероятно, понимают, что товарищество существует для возможно большего удобства и благосостояния своих членов, что сущность его состоит в устройстве, по которому каждый работник был бы свободным человеком и трудился в свою пользу, а не в пользу какого-нибудь хозяина. Вероятно также, что эти люди будут люди, а не звери, то есть не станут забывать, что общество обязано, по возможности, заботиться о сиротах и других беспомощных своих членах; вероятно, они не захотят уничтожить ни школы, ни больницы, видя, что есть у товарищества достаточно средств для их содержания. А если так, то они останутся верны духу и цели своего товарищества и тогда, когда от них будет зависеть изменять, как им самим угодно, устав его. А если так, то надобно полагать, что устав этот они не испортят, а разве усовершенствуют. Что именно сделают они для его усовершенствования, это уже их дело, а наше дело только рассказать, какой порядок заводится в товариществе первоначальным уставом, действовавшим в первый год; одну часть его, относящуюся к производству, мы изложили; теперь займемся другою, относящеюся к распределению и потреблению.

Можно, кажется, предположить, что работники, получая от товарищества обыкновенную плату обыкновенным порядком, будут работать не хуже обыкновенного. Мы предполагаем, что управлению товарищества едва ли понадобится прибегать к исключению какого-нибудь члена товарищества за леность; а если понадобится — что делать! — оно исключит его, как отпускает фабрикант слишком ленивого работника. Но ленивых работников будет в товариществе меньше, нежели на частных фабриках:

имея, как мы увидим, более прямую выгоду от усердия в работе, члены товарищества, вероятно, останутся верны общему качеству человеческой природы, по которому усердие к делу измеряется выгодностью его, и потому надобно полагать, что работа в товариществе пойдет успешнее, чем на частных фермах и фабриках, где наемные рабочие не участвуют в прибыли от своего труда.

Если у фабриканта остается значительная прибыль, за вычетом заработной платы и других издержек производства, то остается она и у товарищества. Одна часть этой прибыли пойдет на содержание церкви, школы, больницы и других общественных учреждений, находящихся при товариществе; другая — на уплату процентов по ссуде из казны и на ее погашение; третья — на запасный капитал, который будет служить, так сказать, застрахованием товарищества от разных случайностей. (Если товариществ много, этот запасный капитал служит основанием для их взаимного застрахования от разных невзгод. Когда же возрастание его представит возможность, он также обращается на пособие вновь основываемым товариществам.) За покрытие всех этих расходов должна остаться значительная сумма, которая пойдет в дивиденд всем членам товарищества, каждому по числу его рабочих дней.

Наш устав написан именно в том предположении, что эта сумма, остающаяся для дивиденда, будет значительна. Почему мы так думаем? Просто потому, что хозяин частной фабрики также имеет все расходы, которые мы вычитали из прибыли товарищества: он также платит проценты по своим долгам и погашает их, также содержит, если только он человек честный, и церковь, и школу, и больницу (и надобно заметить, что, чем больше он тратит на эти учреждения, требуемые понятиями или пользами его работников, тем больше остается у него чистой прибыли); наконец он также застраховывает свою фабрику, — издержка, соответствующая образованию запасного капитала в товариществе, — и за всеми этими расходами у него все еще остается значительная сумма, которая одна собственно и составляет его прибыль: он бросил бы свою фабрику, если бы эта сумма, остающаяся у него в руках, не была значительна. Нет причины полагать, чтобы работа у товарищества шла менее успешно, нежели у него, а есть причина полагать, что она пойдет успешнее; потому-то и мы говорим, что дивиденд в товариществе будет значителен.

Этот дивиденд составляет одну сторону выгоды товарищества для его членов; он возникает из производства. Другую сторону выгоды доставляет посредничество товарищества в расходах его членов на потребление.

Мы уже говорили, что все желающие члены пользуются в общественном здании квартирами, которые лучше и дешевле обыкновенных. Точно так же они могут брать, если захотят, вся-

кие нужные им вещи из магазинов товарищества по оптовой цене, которая гораздо дешевле обыкновенной, розничной. Кому, например, кажется удобным покупать сахар по 20 коп. за фунт, а не по 30, как он продается в маленьких лавках, тот может брать его из магазина товарищества, которое покупает сахар прямо с биржи, стало быть, имеет его 30-ю процентами дешевле, чем получается он из мелких лавок. Но, разумеется, кому угодно платить не 20, а 30 коп. за фунт, тот может покупать его, где ему угодно. Для людей небогатых главный расход составляет пища. Кому угодно самому готовить свой обед, может готовить его, как хочет. Но кто захочет, тот может брать кушанья к себе на квартиру из общей кухни, которая отпускает их дешевле, нежели обходятся они в отдельном маленьком хозяйстве; а кому угодно, тот может обедать за общим столом, который стоит еще дешевле, нежели покупка порций из общей кухни на квартиру.

Нам кажется, что во всем этом нет пока ровно ничего особенно ужасного или стеснительного. Живи где хочешь, живи как хочешь, только предлагаются тебе средства жить удобно и дешево и кроме обыкновенной платы получать дивиденд. Если и это стеснительно, никто не запрещает отказываться от дивиденда.

Вот именно этот самый план имеет свойство возбуждать в экономистах отсталой школы неимоверное негодование своею ужасною притеснительностью, своим противоречием со всеми правилами коммерческого расчета, своею противоестественностью и своим пренебрежением к личному интересу, без которого нет энергии в труде. Хороший отсталый экономист скорее согласится пойти в негры и всех своих соотечественников тоже отдать в негры, нежели сказать, что в плане этом нет ничего слишком дурного или неудобноисполнимого.

Почему же такая простая и легкая мысль до сих пор не осуществилась и, по всей вероятности, долго не осуществится? Почему такая добрая мысль возбуждает негодование в тысячах людей добрых и честных? Это вопросы интересные. Но ими мы займемся когда-нибудь в другой раз.